

БИБЛИОТЕКА ЛАВКРАФТА



ЭЛДЖЕРНОН БЛЭКВУД

# Кентавр

РОМАН, ПОЛОЖИВШИЙ НАЧАЛО  
ЭПОХЕ НЬЮ-ЭЙДЖ

Библиотека Лавкрафта

Элджернон Блэквуд

**Кентавр**

«РИПОЛ Классик»

1911

УДК 821.111  
ББК 84(4Вел)5-44

**Блэквуд Э. Г.**

Кентавр / Э. Г. Блэквуд — «РИПОЛ Классик»,  
1911 — (Библиотека Лавкрафта)

ISBN 978-5-386-14945-1

Один из трех (наравне с Эдгаром По и Артуром Мейченом) любимых писателей Лавкрафта. Аскет, поклонявшийся первоэданнм стихиям Природы. Первый автор «странных историй», с успехом выступавший на радио и телевидении. Создатель удивительных сказок и притч, подаривших второе дыхание британскому и американскому фольклору... Всё это – Элджернон Блэквуд, один из самых одиноких и самых известных литераторов Туманного Альбиона. Роман «Кентавр», проникнутый страстным поиском единства с Прамиром Земли, – квинтэссенция философии Блэквуда, верившего, что людям под силу одолеть путь через Храм Минувшего и открыть для себя утраченные живительные связи со Вселенной.

УДК 821.111  
ББК 84(4Вел)5-44

ISBN 978-5-386-14945-1

© Блэквуд Э. Г., 1911  
© РИПОЛ Классик, 1911

# Содержание

Создатель «Кентавра» Эджернон Блэквуд	7
I	23
II	25
III	33
IV	35
V	40
VI	43
Конец ознакомительного фрагмента.	48

# Элджернон Блэквуд Кентавр



**БИБЛИОТЕКА ЛАВКРАФТА**

Algernon Blackwood  
The Centaur



*Вступительная статья и перевод с английского языка Л. Г. Михайловой*



© Михайлова Л. Г., вступительная статья, перевод на русский язык, 2023  
© Издание, оформление. ООО Группа Компаний «РИПОЛ классик», 2023

## Создатель «Кентавра» Эдджернон Блэквуд

1900-е. Рубеж веков. Торжество цивилизации, которая ради своего распространения перерабатывает на сырье и строительные блоки многообразие природы. И несогласные с таким ходом вещей, которые стремятся донести до людей таинственную прелесть и грозные таинства непознанного. Их немного, но они талантливы и упорны. Их стараниями остался в истории стиль модерн: причудливые растительные арки, перетекающие формы, бегущие геометрической четкости линии. Будто из непроницаемой чаши вырвались гибкие побеги и донесли до нас непередаваемую нежность цветка, танцующего под флейту Пана. Именно так стоило бы проиллюстрировать самый крупный роман Эдджернона Блэквуда «Кентавр». Поскольку перед нами гимн сыновней любви исчезающему миру первозданной Природы.

В раду английских поэтов и визионеров рубежа веков, таких как Редьярд Киплинг, У. Б. Йейтс и Г. Дж. Уэллс, Эдджернон Блэквуд занимает особое место. И дело здесь не столько в величине таланта, сколько в трогательной доверчивости к жизни, пронизанной живыми токами через слои истории, но прежде всего к жизни лесов и полей, морей и рек, гор и простора небес.

Родился мальчик, названный Генри в честь знаменитого прадеда-моряка, героя Графальгарской битвы сэра Генри Блэквуда (1770–1832), 14 марта 1869 года в викторианской респектабельной семье на северо-западе графства Кент, неподалеку от Лондона. Эдджерноном его назвали при крещении. Отец его Артур, за успешную работу секретарем почтового ведомства посвященный в рыцарское звание, был женат на рано овдовевшей Гарриет Доббс-Монтэгю, из ирландских протестантов. Кроме двоих детей от первого брака матери, у Блэквудов родилось еще пятеро.

Из Шутерс-Хилл семья перебралась поближе к столице, в Крейфорд. Там, в большом трехэтажном особняке итальянского стиля из пятнадцати комнат, построенном в 1820 году, и прошло почти всё детство Эдджернона. На первом этаже располагался большой зал, где раз в две недели родители принимали конгрегацию на молитвенные собрания. На лужайке перед домом рос огромный кедр, а яма, откуда брали гравий, «казалось, достигала самого центра Земли», как позже писал Блэквуд в автобиографическом «Пленнике Волшебной страны» (*A Prisoner in Fairyland*, 1913). Но одним из самых привлекательных мест был списанный вагон третьего класса, приобретенный Артуром по дешевке для детей: четыре двери, настоящие фонари на крыше, окна, которые можно было открывать и закрывать, и огромные круглые буфера; главное же – «он трогался без предупреждения и разогнался в мгновение ока, отправляясь куда угодно». Спутниками в поездках становились придуманные Цыганка, Существо из Гравийной ямы, Смеяла, Женщина из Стога, Утренние Пауки и Бродяга, любимец.

По возвращении с Крымской войны, где кровопролитные сражения и страдания раненых при осаде Севастополя обратили его мысли к Богу, Артур Блэквуд помимо работы в казначействе занялся религиозной деятельностью, преимущественно по линии Общества трезвости. Собственно, и с женой он познакомился на евангелистских встречах.

Эдджернон постоянно слушал проповеди о воздержании, вреде пьянства и излишеств, плотских увеселений. Американские евангелисты Дуайт Муди и Айра Санки, авторы знаменитого сборника гимнов, останавливались у Блэквудов. Нередко гости дома вопрошали: «А ты – спасен?» Мальчик мучился дилеммой, правы ли родители с их верой в неотвратимость проклятия или нет. Причем оба ответа одинаково пугали его и вселяли ощущение вины.

Сменив несколько частных школ в Англии, где Эдджернон не особенно преуспел в науках, родители отправляют его в Германию, обучаться в Шварцвальдском пансионе Моравских братьев. В этой школе протестантов-евангелистов царили весьма суровые порядки. Обучение было раздельным, одновременно занималось около 80 мальчиков и 60 девочек. Большинство учеников приехали из Франции, около четверти – из Великобритании, однако разговаривать

на родном языке дозволялось только первые три дня; начиная с четвертого все разговоры могли вестись только по-немецки, переход на другой язык наказывался уменьшением порции обеда вдвое. Спать укладывались в 8:30 вечера, подъем имел место в половине шестого утра, а в шесть начинались занятия, причем опоздания наказывались также уменьшением порции обеда. Однако в течение дня было несколько больших перемен для разминки и спортивных занятий, дети регулярно ходили в походы. Два раза в год, в каникулы, устраивался многодневный выход в лес. К ученикам относились ровно, воспитывая в них ответственность и уважение к товарищам. Моравские братья верили, что исключительно важно развить самосознание учеников, много времени уделялось медитации. Аскетический, но здоровый образ жизни с полноценным питанием и частыми прогулками укреплял здоровье учеников – болезни были крайне редки. И, по существу, год, проведенный в Шварцвальде, пошел Эджернону на пользу: он стал организованнее, у него появились друзья, укрепился характер. Развилось и общение с природой, отчего он впоследствии вспоминал пансион, несмотря на все тамошние строгости, тепло и с уважением.

Летом 1886 года он вернулся домой семнадцатилетним юношей, ищущим для себя ответы на вопросы в мире, отнюдь не ограниченном христианскими догматами. Отец проявлял терпимость, считая, что наилучшим способом укрепления веры будут участливые беседы и что сын перерастет тягу к мирским соблазнам. На лето семья отправилась в Шотландию, к школьному другу отца Маклауду, в замок Данвеган, и там, среди поверий о волшебном народе гор, у Эджернона укрепилось пантеистические представления, согласно которым люди – не единственные существа на планете, отражающие «дух Земли». Отец любил также рассказывать ему нравоучительные истории об опасности общения с миром духов, которые, однако, возбуждали у впечатлительного юноши лишь больший интерес к этой теме. А когда ему попала в руки книга «Афоризмы йогов» Бхагвана Шри Патанджали, оставленная случайно одним из знакомых отца, который писал обличительный памфлет против буддизма как «аморального восточного учения», эта тонкая книжечка, обещавшая молодому Блэквуду, что с помощью медитации он сумеет обрести мир в душе и обострить восприятие всего, «от самого малого до самого великого», а также постигнуть смысл целого, была истинным спасением для него.

На следующий год его вместе с кузеном, который был на несколько лет старше, послали учиться французскому языку в Швейцарию. Там, в пансионе пастора Луи Ланжеля, помимо французского, Эджернон также научился пчеловодству и совершенствовался в игре на скрипке. Хотя профессиональным скрипачом он так и не стал, скрипка всегда сопровождала его в путешествиях и помогала выйти из депрессии. Истинное облегчение, даже экстаз, Блэквуд испытывал при общении с природой – он часто в одиночку уходил в лес, ощущал мощь жизни вокруг и мучился тем, что не знает, как передать свои чувства природе. Много десятилетий спустя учившийся вместе с ним у Ланжеля Перси Радклифф писал, вспоминая ночную прогулку в горы, которой юноши решили отметить юбилей королевы Виктории, о встрече рассвета на вершине, откуда им открылась великолепная панорама Альп. И постоянно, научившись бегло читать по-немецки и по-французски, Блэквуд искал книги, которые утоляли бы его голод по путям к неведомому: символисты Поль Верлен и Эмиль Верхарн, немецкие философы и поэты, среди которых он выделял особенно Новалиса. Самым же любимым автором стал Шелли, чьего «Освобожденного Прометея» он знал наизусть. Именно тогда он открыл для себя Густава Фехнера, чей духовный последователь Анри Бергсон вскоре выдвинул идею расовой памяти. За «Афоризмами йогов» последовали «БхагаватГита» и «Упанишады».

Мечта покинуть дом крепла. Он любил родителей, но постоянно испытывал сомнения в собственных возможностях, а также опасение не оправдать возлагавшихся на него ожиданий. Богатые и родовитые родственники, такие как генерал-губернатор Австралии лорд Кинтор, генерал-губернатор Канады лорд Дафферин, лорд-мэр Лондона сэр Ричард Доббс, не оставляли Блэквудов своим вниманием, и юноша воспользовался одним из таких визитов, чтобы

высказать желание попробовать свои силы вдали от дома, в Америке. У отца был участок в Канаде, поэтому он согласился. А тут выдался случай совместить частную поездку со служебной, для развития почтовых сообщений, и вот 7 августа 1887 года они с отцом отплывают в Америку на пароходе «Этрурия».

Скорости передвижения уже очень впечатляют: пять дней – и Атлантический океан позади. Юноша с отцом садятся на поезд и мчатся через материк к Тихому океану, впервые видят северное сияние, несколько дней на Западном побережье, обратный путь через Квебек и Вашингтон, а менее чем через десять недель, 17 октября, – снова в Англии. Поистине, прогресс достиг самых дальних пределов.

Поездка в Канаду и планы сына сделаться фермером дают отцу основания записать Эджернона осенью следующего, 1888 года на курс сельскохозяйственных наук Эдинбургского университета, куда перевелся и его старший сын Стивенсон. Однако продвижения в, казалось бы, избранной области не намечается. Вместо этого юноша всё полнее погружается в исследования совсем другого сорта – событий таинственных и сверхъестественных, тайн человеческой психики. Именно в Эдинбурге, посещая лекции и занятия медицинского факультета, он знакомится с врачом, обладающим даром гипноза. На медиумических сеансах в его доме впечатлительному юноше открывается, что в прошлых жизнях он был североамериканским индейцем, ацтеком, египтянином и даже атлантом. Переживания от посещения «домов с привидениями», которые он ходил проверять в окрестностях Лондона по линии Общества по исследованию парапсихических явлений, дружба со студентом-индусом, наставлявшим его в овладении дыхательными техниками и медитацией, помогли укрепить интерес к дальнейшим оккультным изысканиям. Отец, надо сказать, знал об участии сына в осмотре домов с привидениями, но деятельность Общества по исследованию парапсихических явлений, где видную роль играли его коллега по службе в почтовом ведомстве Фрэнк Подмор и физик Уильям Баррет и членами которого состояли весьма известные люди (среди прочих – лорд Теннисон, Джон Рёскин, Уильям Джеймс), приветствовал, поскольку считал разоблачающей спиритуалистов. Совсем скоро появится и первый рассказ, навеянный этими исследованиями, – «Таинственный дом», который был опубликован в журнале «Белгравия» в 1889 году.

К этому времени, еще до отъезда в Америку, относится и знакомство Блэквуда с направлением работы Теософского общества: в журнале общества «Люцифер» его статья «Мысли о природе» появляется уже в 1890 году. Основной целью общества, основанного Еленой Блаватской (1831–1891) и Генри Олкоттом (1832–1907), было продвижение идей о всеобщем братстве, ради чего приветствовалось сопоставительное изучение верований Запада и Востока, а также разного рода необъясненных явлений. Блэквуду могла импонировать и идея о циклах развития, лежащая в основе «Тайной доктрины» Блаватской, трактующей раскрытие божественного потенциала через последовательность циклов духовного и материального развития. С большой вероятностью Эджернон обсуждал различные аспекты теософии с Фрэнком Подмором, поскольку деятельность Блаватской попадала в сферу исследований Общества по исследованию парапсихических явлений.

Летом 1889 года Блэквуд получает паспорт, знаменующий самостоятельность, и отправляется в марафонский поход по горам Швейцарии и Северной Италии. Этот поход в несколько сотен миль насытил его душу энергией; сам он сравнивал такие «приобщения» к природе с причастием, необходимейшей духовной пищей. А в апреле 1890 года он снова отплывает в Америку, теперь один.

Попав в Торонто, он пытается наладить деловые контакты, но – где по неловкости, где от нежелания – развить их у него не получается, несмотря на рекомендательные письма отца. Из всех штудий самыми полезными там оказались знание языков, умение играть на скрипке и владение скорописью, которое помогло ему закрепиться на месте секретаря редактора «Журнала методистов Канады» Уильяма Уинтропа. В журнале он обрел некоторый опыт редактор-

ского дела, там увидели свет и несколько материалов, основанных на воспоминаниях о жизни у Моравских братьев. Эти успехи и договор с местным фермером побудили отца дать согласие на выдачу Эджернону денег на обустройство фермы. Но попытка развернуться со своим делом наталкивается на полное незнание жизни и отсутствие деловой хватки. Поэтому и молочная ферма возле Торонто, на которую отец выделил средства (2000 фунтов)<sup>1</sup>, и питейное заведение в самом Торонто, куда приятель уговаривает его вложить остатки денег (600 фунтов), прогорают.

Утешения Эджернон ищет в теософии; в январе 1891 года он направляет письмо Уильяму Дзаджу с просьбой принять его в нью-йоркское отделение общества, на что вскоре получает ответ с предложением вступить в только что открытое торонтское. Встречи проводились в доме Эмили Стоуи – первой среди женщин Канады, добившейся права вести врачебную практику (в университет Торонто ее не приняли, а когда она окончила обучение в Нью-Йорке, с 1867 по 1880 год практиковала без лицензии). Дочь же ее стала первой выпускницей медицинского факультета уже в Канаде в 1883 году. У Стоуи был остров на озере Мускока: Блэквуд проведет здесь немало дней. А пока он выписывает множество книг по теософии и принимает их изучать: сочинения Анны Кингсфорд и Эдварда Мейтланда «Совершенный путь», «Эзотерический буддизм» А. П. Синнета наряду с «Магией, черной и белой» Хартманна, а также «Тайной доктриной» и «Разоблаченной Изидой» Блаватской. Но с наступлением весны он предпочитает городским стенам приволье лесов.

Американский период жизни Эджернона Блэквуда, продолжавшийся девять лет, подробнее всего раскрыт в фундаментальной биографии писателя, написанной английским исследователем фантастики Майком Эшли<sup>2</sup>. Прежде о многом можно было только догадываться по намекам в таких книгах самого Блэквуда, как квазиавтобиографический роман «Образование дядюшки Пола» (*The Education of Uncle Paul*, 1909) и лирическая автобиография «Эпизоды из юности» (*Episodes Before Thirty*, 1923), поскольку документальные данные скудны. Однако благодаря изысканиям Эшли, более двадцати лет собиравшего материал для своей книги о визионере Блэквуде, перед нами предстает драматическая история жизненных испытаний и зарождения таланта рассказчика.

Как нередко будет и впредь, в мае Эджернон вместе с незадачливым компаньоном, эмигрантом из Англии Йоханом Поу, бежит от несчастий на природу: они тайно, ночью, уезжают на полюбившееся озеро Мускока, где и поселяются в хижине знакомого юриста, проведя там лето 1892 года, рыбача и наблюдая рассветы на восточной оконечности острова, а на западной – закаты. Осенью же они решают не возвращаться в Торонто, а отправиться попытать счастья в Нью-Йорк.

Несмотря на рано опубликованные первый рассказ и стихи, Эджернон довольно долго не стремился к писательской карьере. Нью-Йорк встретил его неприветливо, а работа репортера отдела криминальной хроники в вечернем выпуске «Сан», куда удалось устроиться примерно через месяц, сделала почти постоянным местом пребывания мрачное здание суда, где приходилось брать интервью у осужденных на казнь. Особенно врезались в память их просьбы объяснить, как действует этот непонятный электрический стул (который в ту пору вошел в обиход); впоследствии он писал, что хотел бы забыть жалкие улыбки приговоренных из-за решетки, но они навсегда врезались ему в память. Вдобавок в октябре открылась болезнь: незалеченная царапина на боку, полученная еще на озере, воспалилась, и Блэквуд едва не умер от заражения крови. В бреду к нему пришли идеи нескольких рассказов, в том числе о «щели во времени» между сегодняшним и завтрашним днем. Вкравшийся в доверие к писателю Артур Бигг, внешне безупречный джентльмен, несомненно пользовавшийся тем фактом, что являлся

<sup>1</sup> Сумма, равная примерно 200 000 современных долларов США.

<sup>2</sup> См.: Ashley M. Algernon Blackwood. An Extraordinary Life. N. Y., 2001.

тезкой личного секретаря королевы Виктории, с которым Блэквуд познакомился во время игры в крикет, и поселившийся вместе с ним и Поу на съемной квартире, оказался мошенником. Он крал те гроши, которые Блэквуд зарабатывал переводами с французского, и выманивал деньги у знакомых – якобы на лекарства для больного друга, а на самом деле – на развлечения с певицей. Когда открылось, что он украл даже марки, не отправив написанные Эджерноном письма в Англию родным, а также пытался подделать подпись на чеке, присланном Блэквуду, Бигг – после откровенного разговора – сбежал. Однако чувство оскорбленного достоинства заставило Блэквуда отыскать его и убедить сдать полицию, пообещав тогда подать иск только с обвинением в мелкой краже, не упоминая о подлоге. Это был едва ли не единственный решительный поступок за всё время жизни в Америке. Бигг был осужден и отсидел в тюрьме восемнадцать месяцев.

Однако там же, в Нью-Йорке, Блэквуд обрел человека, заменившего ему отца, – духовно близкого ему, но более опытного; тот не раз выручал его советом, предоставлял кров и помогал пережить предательство тех, кого Эджернон считал друзьями.

Это был его соотечественник Альфред Луис (1828–1915) – юрист, подававший большие надежды, но подвергнутый остракизму премьер-министром У. Гладстоном, после чего карьера в Англии для него была закрыта. Еврей по рождению, он был искателем истины и веры, стремясь не к поверхностному, а к глубинному их пониманию. Яркий, непримиримый характер Луиса привлекал внимание: мужчина послужил прототипом для мистика Мордухая в «Дэниэле Деронде» английской писательницы Джордж Элиот и главного героя поэмы «Капитан Крэг» американца Эдварда Робинсона. Для Альфреда Луиса каждый человек был вселенной, где прошлое встречается с будущим, и только ему одному ведомо, как найти путь к своей мечте. Общение с такой неординарной личностью помогло Блэквуду окрепнуть душой и поверить в свои силы.

Именно у Луиса он обедал в те мучительно долгие шесть недель, пока ждал места в «Нью-Йорк Таймс». Этот самый черный период жизни в Америке, когда все друзья находились далеко, нечем было заплатить даже за крышу над головой, целые дни Эджернон проводил в библиотеке, а ночью спал на скамейках в Центральном парке. Наконец, в сентябре 1895 года, пришло извещение, что он принят с еженедельным жалованьем 35 долларов в неделю. Полтора года работы в газете Блэквуд вспоминает с удовольствием, прежде всего из-за того, что работал с умными профессионалами, хорошо знавшими свое дело. Работа занимала весь день, иногда приходилось засиживаться до полуночи, но задания были интересными. Так, например, он освещал лекции Лаймана Эббота, называвшего себя «теологом-эволюционистом», и с марта по май 1896 года стенографировал каждую воскресную лекцию, готовя сжатый вариант для публикации в утренней газете в понедельник. Блэквуд всегда считал религию и науку двумя сторонами одной монеты, поэтому интерпретация христианских воззрений с привлечением теорий Гексли, Дарвина, Тиндалла и других биологов-эволюционистов, представленная блестящим полемистом, увлекала его. А впоследствии Эббот на просьбы указать, где можно познакомиться с его мыслями в печатном виде, рекомендовал всем колонку Блэквуда в «Нью-Йорк Таймс». Такая высокая оценка принесла помимо морального удовлетворения даже некоторое повышение жалованья.

Лето – вновь на озере Мускока в Канаде, но на этот раз впечатления о жизни на острове слились с тревожным флером памяти о некогда населявших его индейцах и воплотились в рассказ «Остров с призраками» (*The Haunted Island*), опубликованный в журнале «Пэл-Мэл» в 1899 году: мы, затаив дыхание вместе с рассказчиком, застывшим во тьме у стены, следим, как неведомые индейцы прибывают к острову, входят в дом, поднимаются наверх, а потом волокут мимо рассказчика его собственный оскальпированный труп. Необъяснимость и эмоциональное напряжение, столь зримо переданное автором, принесли рассказу успех.

Однако даже интересная работа никогда не могла задержать Эджернона на одном месте подолгу. И, как часто будет в дальнейшем, случайная встреча – в поезде с влиятельным знакомым отца по миссионерской работе, бизнесменом-филантропом Уильямом Эрлом Доджем (1832–1903), с которым он поделился желанием найти иное занятие, – послужила толчком, который перевел жизнь на новые рельсы. Через некоторое время после интервью Додж предложил ему место личного секретаря у Джеймса Спейера, партнера семейного банкирского дома в Нью-Йорке, который играл заметную роль в финансировании строительства и эксплуатации железных дорог. Жалованье было тем же, что и в «Таймс», но работа – только в первой половине дня, что давало много времени для чтения и прогулок. Особенно привлекала Блэквуда гористая местность в окрестностях одного из загородных домов Спейера в тридцати милях к северу от Нью-Йорка, откуда он мог обследовать Кэтскильские и Адирондакские хребты. В 1897 году Блэквуд присутствовал на свадьбе Джеймса Спейера с Эллин Лоуэри. Благодаря этому событию он познакомился с племянником Эллин Джоном Принсом (1868–1945), дружба с которым не прерывалась много лет. Специалист в области семитских языков, профессор Нью-Йоркского университета Принс изучал верования и язык американских индейцев, в особенности алгонкинских племен, для чего неоднократно выезжал на север Канады, где записывал легенды в поле. В октябре 1898 года в одной из экспедиций для охоты на лося принял участие и Блэквуд. Событие это послужило источником по крайней мере пяти его произведений, в том числе знаменитого «Вендиго» (*The Wendigo*, 1910). От Монреаля по Канадской тихоокеанской железной дороге члены экспедиции добрались до Маттавы, оттуда на каноэ до озера Когаванна и двадцать миль шли по следу лося с проводником-метисом по имени Хэнк до озера Гарден, где и застрелили животное. Парадоксальным образом, симптоматичным, впрочем, для духовного движения XX века, жена Принса Аделин, самая яркая охотница в мероприятии, впоследствии возглавила Женскую лигу защиты животных и руководила ветеринарной клиникой Эллин Принс-Спейер. Да и сам Блэквуд, застреливший тогда лося-гиганта (рога его достигали 54 дюймов в длину и имели 28 отростков), позже также значительно смягчился в своих взглядах на охоту.

В одном из наиболее известных произведений английского классика литературы о сверхъестественном, повести «Вендиго», передана завораживающая атмосфера, картины осенней канадской природы и сам Вендиго, проносящийся над головами. В равной мере опираясь на индейскую легенду о неумолимом хозяине лесов, питающемся живой плотью, и на свои теософские изыскания, Блэквуд соткал свой образ: свирепый получеловек-полумедведь стал у него, подобно переносящемуся по воздуху йогу-кешара, духом северных лесов. Десять лет вынашивал писатель этот образ, пока наконец не запечатлел в занесенной снегом хижине в Шампери, Швейцария: за стенами ревел буран, грозя разнести его пристанище в щепы. Как во многих других историях, в «Вендиго» действует, с одной стороны, ученый-психолог, который занимается изучением галлюцинаций, а с другой стороны – восприимчивый к чарам природы франкоканадец лесник Дефаго. Но если не устоявший перед зовом дикой природы Дефаго возвращается полностью опустошенным, то самого Блэквуда этот зов всегда наполнял новой силой. Это скорее Нью-Йорк, скопище противоречивых корыстных человеческих устремлений, едва не выпил его душу.

К американскому периоду относится немало знакомств с людьми, сыгравшими потом значительную роль в жизни Блэквуда, так или иначе повлиявших на формирование его взглядов или развитие его дара рассказчика. Одним из них был репортер «Сан» Эн-гус Гамильтон, впоследствии обретший известность репортажами с Англо-бурской войны для лондонской «Таймс» и о Русско-японской – для агентства «Рейтер». Он жил в Нью-Йорке этажом выше Блэквуда и любил заходить к нему, чтобы послушать его истории, а также всячески побуждал его их записывать. Через десять лет он же без ведома автора передал в Англии издателю Нэшу рукопись его сборника «Пустой дом и другие рассказы» (*The Empty House and Other Ghost*

*Stones*), который и увидел свет в 1906 году, положив начало известности Блэквуда как автора историй о сверхъестественном.

Еще в период работы в «Сан» Блэквуд брал интервью у знаменитого актера Генри Ирвинга, первым удостоившегося рыцарского звания за свою игру, во время его американского турне. На встрече в 1893 году присутствовал менеджер Ирвинга Брэм Стокер. «Дракула» и отказ его патрона сыграть роль барона-вампира были еще впереди, но уже к этому времени Стокер являлся автором ряда произведений.

Летом 1894 года в провинции Онтарио разгорелась золотая лихорадка. Блэквуд решил попытать счастья и, пообещав отправлять в газету очерки о том, как будут развиваться события, вместе с парой знакомых – прогоревшим финансистом и боксером-любителем – отбыл на берега озера Рейни-Лейк в провинции Онтарио. До Дулута добрались поездом, а дальше двинулись с проводником-метисом вниз по реке Вермилион на каноэ. На месте выяснилось, что промывкой добыть золото невозможно, а чтобы добраться до золота в кварцевых жилах, нужна дорогостоящая техника, и из всей затеи ничего не вышло, однако путешествие по водным артериям этого заповедного края запомнилось своей завораживающей красотой. «Всё блистало свежестью, воздух пьянил не хуже шампанского, а вод такой синевы я не видел больше нигде», – вспоминал Блэквуд позже<sup>3</sup>. Впечатления легли в копилку памяти.

В феврале 1899 года он вернулся на родину, в Англию. Ему уже не довелось застать в живых отца, но мать и сестры были безмерно рады его прибытию и принялись снова приобщать Эджернона к кругу знакомых. Закончились долгие годы ученичества, Блэквуд вернулся тридцатилетним, довольно много повидавшим человеком. Но – не утратившим тяги к познанию. Поэтому, получив по протекции лорда Кинтора необременительную конторскую работу в Сити, он, в ожидании более интересной должности, о которой они договорились еще в Америке с личным секретарем Вандербильта Джеймсом Хэтмейкером, устанавливает связь с Лондонской ложей Теософского общества, куда его официально принимают в мае 1899 года. Еще больший интерес у него вызывает герметический Орден Золотой Зари, куда Блэквуд и переходит менее чем через год. Один из наиболее активных членов Ордена Джордж Уильям Рассел (1867–1935), подписывавшийся псевдонимом *Æ* (от латинского слова *Æon* – вечность), являлся также лидером движения кельтского возрождения. Эджернон всегда ощущал прилив творческих сил в его присутствии: «Запахавшийся пес моего воображения сорвался с привязи и понесся без удержу в неведомое», – признавался он позже радиослушателям<sup>4</sup>. На раннем этапе в храме Иисиды-Урании Ордена Золотой Зари, основанном Уильямом Уэсткоттом, Сэмюэлем Мазерсом и Уильямом Вудманом, состояли некоторые английские поэты и философы рубежа веков: У. Б. Йейтс, Аллан Беннет, Артур Мейчем, Роберт Фелкин, сестра Анри Бергсона Мина, жена Оскара Уайльда Констанс. Орден обладал внутренней иерархией, включавшей императора, адептов, и несколько рангов приближения к истинному знанию, начиная с неопитов. Блэквуд изучил иврит, каббалу и символику, играющую центральную роль в еврейской мистике и дающую власть над вещами, чьи истинные имена открываются ищущему, однако дальше этого не пошел. Положение в Ордене его не занимало, в отличие от печально известного Алистера Кроули, обладавшего безмерным себялюбием и желавшего всей полноты власти – как над своими земными последователями, так и над миром духов. Более того, трения в Ордене и борьба за лидирующее положение претили Блэквуду – искателю знания.

Новое тысячелетие началось для Блэквуда на родине, но его тяга к путешествиям и впечатлениям от многообразия природы ничуть не угасла. Уже летом 1900 года он отправляется с одним из наиболее близких своих друзей Уилфридом Уилсоном в плавание на каноэ по Дунаю. Из верховий в Шварцвальде они планировали сплавиться до самого Черного моря, но по ходу

<sup>3</sup> Ashley M. P. 80.

<sup>4</sup> По материалам архива «Би-би-си», запись передачи 25 декабря 1948 г. Цит. по: Ashley M. P. ПО.

дела поняли, что замысел оказался невыполнимым. Верховья Дуная очень порожисты, течение быстро и коварно. За месяц путешественники достигли только Вены, но едва не потеряли все припасы, когда каноэ унесло и повредило о баржу. Его удалось починить, и мужчины решили следовать вглубь территории Венгрии. Сильное течение несло их меж множества наносных песчаных островков, поросших ивняком. Во время ночевки на одном из них Блэквуду и пришел основной образ самого его знаменитого рассказа – «Ивы» (*The Willows*, 1907). Подвижность среды, сочетание элементов воды, ветра и земли делает такие земли границей между привычным нам миром и миром неведомым – «населенным душами ив». Упорство путешественников, не покидающих остров, делает их мишенью непостижимых сил, связанных с этим «проклятым местом». Мощь этих первобытных сил, которые отбрасывают свою тень на зримый нам мир и взвихряют воздух, подобно пушкинским бесам в «Буре», передана Блэквудом в рассказе незабываемо: это побудило Говарда Лавкрафта сопоставить его с «Белыми людьми» Артура Мейчена и отнести к непререкаемым шедеврам: «Даже речи не может идти о сомнениях в даровании мистера Блэквуда, ибо еще никто с таким искусством, серьезностью и детальной точностью не передавал обертоны некой странности в обычных вещах и происшествиях, никто со столь сверхъестественной интуицией не складывал деталь к детали, чтобы вызвать чувства или ощущения, помогающие преодолеть переход из реального мира в нереальный мир или в видения. Не очень владея поэтическим колдовством, он всё же является бесспорным мастером сверхъестественной атмосферы и умеет облечь в нее даже самый обыкновенный психологический фрагмент. Лучше других он понимает, что чувствительные, утонченные люди всегда живут где-то на границе грез и что разницы между образами, созданными реальным миром и миром фантазий, нет почти никакой»<sup>5</sup>.

Мейчена и Блэквуда связывает парадоксальным образом не только близость жанра создававшихся ими произведений. Кто бы мог подумать, что между ними существует «молочная» связь! А. Э. Уэйт из Золотой Зари, помимо борьбы за верховенство в Ордене, был также управляющим лондонским отделением компании по производству солодового молока Хорлика, и ему удалось уговорить руководство компании начать выпуск «популярного» журнала по типу «Пэл Мэл» или «Стрэнда» – «Хорликс Мэгэзин энд Хоум Джорнал», выходящий полтора года (1904–1905). Он стал первым в Британии периодическим изданием произведений оккультного характера. А Блэквуд с 1904 года стал управляющим лондонским отделением компании Хэтмейкера, патент которому на процесс по производству сухого молока помог оформить Альфред Луис, американский «отец» Блэквуда, вернувшийся теперь на родину. Забавное совпадение и симптом высокой деловой активности и связей между США и Великобританией на рубеже веков.

Конечно, долго занимать внимание такого человека, как Блэквуд, дела фирмы не могли. С публикацией первого сборника рассказов начала расти его литературная репутация, и печать в 1907 году второго сборника – «Слушатель и другие рассказы» (*The Listener and Other Stories*), куда вошли, в частности, и «Ивы», – подкрепила ее еще сильнее. После смерти матери в этом же году Блэквуд получает небольшое наследство, которое тем не менее вместе с гонорарами позволяет ему оставить службу и посвятить себя только литературной деятельности.

С тех пор и до конца своих дней зимы Блэквуд проводит в Швейцарии, в северо-западной части – кантоне Юра, окрестностях лыжного курорта Гштаада и Сааненмозера. Теперь удачное расположение на границе между Бернским Оберлэндом и регионом Во, множество интересных перепадов высот привлекают сюда спортсменов экстра-класса, там чувствуют себя как дома любители крутых спусков и фристайла. Эджернон любил лыжи, дававшие особенную свободу слияния с ветром и чистой белизной. А «поэзии катания на лыжах» он посвятил лири-

<sup>5</sup> Лавкрафт Г. Ф. Сверхъестественный ужас в литературе / пер. с англ. Л. И. Володарской // Лавкрафт Г. Ф. Зверь в подземелье. М.: Гудьял-Пресс, 2000. С. 452.

ческий рассказ, где сравнил плавное стремительное движение лыжника вниз по склону с полетом птицы, «что ложится крылом на восходящий поток воздуха. Тогда, кажется, сама земля подбрасывает тебя в воздух, ловит на плавном склоне и бережно несет вниз»<sup>6</sup>. Для Блэквуда, который постоянно искал способа слияния с надличным и внеличным, лыжи были не просто зимним видом спорта, а средством соединиться с духом Альп.

Сборник рассказов о детективе-парапсихологе Джоне Сайленсе, гипнотизере и телепате, был первой книгой, писавшейся именно как цельное произведение, пусть и составленное из отдельных новелл. Предложенная Нэшем идея объединить их одним персонажем понравилась Блэквуду. Поначалу детектив носил имя доктор Стефан, но оно было заменено по предложению издателя и, надо сказать, как нельзя лучше подошло этому немногословному человеку с тонкими чертами лица и негромким голосом, сразу внушающему доверие тем, кто прибегает к его защите. Предшественник «охотников за привидениями» и Малдера со Скали из современных «Секретных материалов» импонировал и поклонникам Шерлока Холмса, а внушаемое доверие распространялось на автора, которому начали поступать письма с просьбами приехать и помочь, защитить от проявления потусторонних сил, духов и привидений. Большинство таких писем Блэквуд оставлял без реакции, но в ответ на некоторые – действительно выезжал, желая проверить заинтересовавший его случай. А одна читательница обращалась напрямую к доктору Сайленсу, сообщая, что чувствует глубокое родство душ с ним и ежедневно выделяет несколько минут, начиная ровно с десяти вечера, для телепатического общения с ним. Да, книга поистине заворожала многих и обеспечила Блэквуду имя; она же и по сей день остается самым известным его произведением.

Вскоре проявился еще один талант Блэквуда, та грань, что открывала ему навстречу сердца не только взрослых, но и детей. Писатель не завел своей семьи, но сколько добрых знакомых Эдджернона с легкой душой оставляли на него детвору: мальчиков и девочек было не оторвать от дядюшки Пола. Почему – Пола? Так вышло, что имя литературного персонажа из его романа «Воспитание дядюшки Пола» (*The Education of Uncle Paul*, 1909), который создавался как раз в 1909 году в Швейцарии, сделалось «детским» прозвищем Блэквуда. «Всехний» дядюшка был неистощим на выдумки и, главное, умел без надменности и без сюсюканья говорить с детьми, до которых занятым взрослым часто не было особого дела. Этот полуавтобиографический роман посвящен «всем детям от восьми до восьмидесяти, что подвели меня к щели между мирами и с тех пор неустанно путешествуют вместе со мной в Страну между прошлым и будущим», как писал автор в эпиграфе. Одна из самых ярких сцен в романе – встреча героями утра в Стране между прошлым и будущим, когда навстречу солнцу поднимаются цветные ветра, яркими вымпелами вьющиеся над кронами деревьев. Способность растворить различные ощущения друг в друге и слить их воедино и составляет воспитание дядюшки Пола. Нестандартность детского видения, любознательность, так ярко переданная в образе Алисы современником и соотечественником Льюисом Кэрроллом, у Блэквуда присуща многим героям – детям и подросткам, начиная с Nikei, выведенной в «Воспитании дядюшки Пола». Через «щель» в ту Страну, где пребывают все мечты, где время вечно обновляется и где можно вновь подхватить оброненное слово, развить упущенные возможности и где томятся призраки сломанных вещей в ожидании тех, кто сможет их поправить и починить, можно проникнуть, только в достаточной мере «утончившись», то есть сумев сбросить груз повседневности. «У каждого есть места потоньше, вполне можно протиснуться», – говорит Nikei. Подобно лучшим произведениям для детей, книга эта мудра и читается на нескольких уровнях, в том числе мистическом. Поскольку она обращена к невинности, самому элементарному строительному блоку существования, Блэквуд считает, что так можно построить альтернативный при-

<sup>6</sup> Blackwood A. The Poetry of Ski-Running. Country Life. February, 26. 1910. Цит. no: Ashley M. P. 142.

вычному взгляд и разглядеть истинные Реальности в основе самого нашего существования. Бог был для писателя одним из аспектов таких Реальностей.

Путешествие весной и летом 1910 года укрепило его в этом убеждении. В мае того же года к Земле после 76-летнего перерыва подлетела комета Галлея, и многими овладел страх, замечательно переданный Артуром Конан Дойлем в романе «Отравленный пояс»: после прохождения планетой облака ядовитого газа гибнут почти все люди на Земле. Смерть Георга VII 6 мая усугубила дурные предчувствия. Однако 18 мая Земля прошла через хвост кометы Галлея без пагубных последствий. Блэквуд наблюдал комету в предрассветные часы с палубы парохода, плывущего по Средиземному морю в Черное, через Константинополь в Батум. Там он сплавлялся по стремительной порожиистой реке Чорох, напомнившей ему Дунай, затем двинулся вглубь Малого Кавказа, поднявшись на одну из его вершин. Поездом добрался до Тифлиса, сущего Вавилона по смешению языков и пестроты типов, а в конце июня предпринял путешествие до Владикавказа на телеге. Перемещаться таким образом понравилось ему больше, чем на поезде: вокруг раскрывались благоухающие цветами долины, поражающие воображение панорамы, над которыми царил пик Казбека. Более недели бродил писатель по долинам вокруг Владикавказа и именно там, на более суровых северных склонах, определил место Врат в чудесный сад из романа «Кентавр» (*The Centaur*, 1911). Обратный путь до Тифлиса на автобусе занял каких-то двенадцать часов, что показалось Блэквуду непростительной спешкой: это вернуло его в современный ритм жизни. По возвращении в Европу, переполненный впечатлениями, он начал писать роман о существе, выжившем в современном мире с самых древних времен, но дело пришлось отложить, чтобы мысли устоялись. К середине февраля 1911 года он завершает давно писавшийся роман о человеке, помнящем все свои реинкарнации, «Джулиус Ле Валлон» (*Julius Le Vallon*, 1916), и только тогда вплотную садится за «Кентавра», который завершается звуками флейты Пана. Одновременно он пишет несколько рассказов и повестей, составивших опубликованный в следующем году сборник рассказов о природе «Сад Пана» (*Рбт 5 Garden: a Volume of Nature Stories*, 1912).

Притом ужас, который охватывает подчас его героев, – не панический. Пан для Блэквуда – вовсе не языческое божество, а олицетворенный западной культурой способ общения с природой, Землей как всеобъемлющим живым существом. Греческая приставка «пан», как известно, придает понятиям значение всеобщности. Собственно, согласно одной из легенд, Пан уже в младенчестве был настолько жизнелюбивым, что доставлял всем великую радость: оттого его так и нарекли. А как мы знаем, древнегреческие мифы, аккумулировавшие в себе мудрость человечества доантичной эпохи в живых красках и образах, поддаваясь самым различным трактовкам, становятся своего рода набором концептов гуманизма в западноевропейской традиции, которая вычленила человека из природы, а последнюю наделила его качествами. В этом мощь и слабость гуманизма, поскольку природные силы неисчерпаемы в единстве взаимосвязей, но, приспособленные к нуждам человека, они могут исказиться в силу искажения ценностей в обществе: чрезмерная эксплуатация ресурсов нарушает гармонию и порождает цепную реакцию разрушения построенного людьми. Блэквуд больно переживал распад связей с природой и мечтал о ее восстановлении для большинства. Именно эта тяга к гармонии лежит в основе романа. И кентавром в таком понимании является каждый человек, несущий в себе миллиардолетнее наследие эволюции, от которого современные люди по неразумию отказываются, будучи не в состоянии ощутить напрямую связи с породившей их планетой.

Сборник «Сад Пана» открывала повесть «Человек, которого любили деревья» (*The Man Whom the Trees Loved*). Герой ее, мистер Битгаси, полностью настроившись на гармонию с лесом, сливается с ним и исчезает из мира людей: его жене остается только пустая оболочка. А для миссис Битгаси мир леса совершенно чужд. Тут Блэквуд являет картину невозможности сочетания представлений современного человека в его себялюбии с природным бескорытием

и существованием вне системы ценностей западной цивилизации, что не может не пугать верных ее чад. Эту повесть Блэквуд писал в особняке своих новых знакомых, барона Кнупа и его жены Майи, которой посвящены «Кентавр» и еще несколько произведений писателя. Повстречались они, скорее всего, на пароходе по пути на Кавказ.

Отец русского барона Йохана Кнупа (1846–1918), Людвиг, разбогател на текстильном производстве в Нарве, за что и получил свой титул. Братья Кнупы были баснословно богаты, к тому же они были меломанами и коллекционерами. Причем коллекционировали не что-нибудь, а скрипки Страдивари, собрав в итоге двадцать девять инструментов великолепного звучания. А Майя (настоящее ее имя было Мэйбл Стюарт-Кинг, но так никто ее не называл) стала женой барона, – вероятнее всего, именно благодаря тому, что играла на скрипке Страдивари – своим единственным достоянием: она рано ушла из дому в поисках своей крестной, немецкой принцессы. Всё странно было в отношениях этой пары, являвшей собой союз полных противоположностей: мрачный, нелюдимый барон был вдвое старше своей искренней, непосредственной жены, становившейся душой любой компании. А скрипку Йохан Кнуп у жены отобрал: он присоединил инструмент к своей коллекции и не разрешил Майе больше играть на ней. Эта история послужила для Блэквуда толчком к написанию рассказа «Пустой рукав» (*The Empty Sleeve*, 1911). Кнуп много ездил по делам фирмы, и у него были дома в Лондоне и Париже, а в Египте он открыл санаторий в Хелване неподалеку от Каира. Там же им был основан и отель «Эль-Хаят», впоследствии выросший в международную сеть. Зимы Кнупы проводили в Египте. Там в обществе Майи или неподалеку от нее несколько зим провел и Блэквуд.

Бесконечность Египта во времени и пространстве лучше всего ощущалась Блэквудом в пустыне, заволажившей его своим величием больше, чем пирамиды и Сфинкс. Он провел две ночи в ущелье Вади Хоф, оставаясь палящим днем в спальном мешке, а ночью впитывая в себя ощущение пустыни. Навеванный этими переживаниями рассказ «Песок» (*Sand*, 1912), в котором попытка вызвать древнего духа Египта приводит к катастрофическим последствиям для самонадеянных современных магов, проникнут физическим ощущением толщи веков, испытанным Блэквудом в Вади Хоф.

1910–1914 годы стали самым плодотворным периодом его жизни именно благодаря Майе – женщине, которая была самым духовно близким ему человеком, истинной музой.

Повесть «Проклятые» (*The Damned*, 1914) – красноречивый тому пример. В ней слились и воспоминания о непримиримом ригоризме евангелических встреч в родительском доме, и непреклонный образ барона, послуживший прототипом для Франклина. Башни с прилегающими угодьями сильно напоминают купленный Кнупом в 1903 году особняк на границе графств Кент и Сассекс, а героиня повести носит имя его музы – Мэйбл. Но примечательнее всего лейтмотив: сквозь все искажения мира, вызванные фанатизмом разных времен, прорывается убеждение, что никто не проклят, ничто, кроме зашоренного представления о праведности исключительно одной разновидности веры, не мешает людям проникнуться деятельной любовью друг к другу. Из гнетущего мира, где «ничего не происходит», может быть лишь один выход – понять и принять другого. Особенно запоминается зарисовка бытовой сценки – рыдающий связанной мальчишками сестренки.

«– Мы собирались сжечь ее, сэр, – сообщил мне старший из мальчиков, а на мое недоуменное „за что?“ не замедлил пояснить: – Никак не хотела поверить в то, во что нам хотелось».

Действительно, почему им знать, что так делать не положено, ведь это «для ее же блага»; так же веками уверяли инквизиторы.

Восприятие «Кентавра» было неоднозначным: одни обвиняли автора в идеализме и наивности, другие – такие как Джордж Рассел (Æ) – восхищались созвучию собственным поискам. Особенно же Блэквуд ценил отклик Эдуарда Карпентера, слова которого из книги «Цивилизация: причина возникновения и способ исцеления» он поставил эпиграфом ко второй главе романа. Тот писал: «Должно быть, вами овладел приступ настоящей „страсти к Земле“, если

вы смогли столь явственно ее передать»<sup>7</sup>. Жгучая страсть и вера в возможность «счастья для всех» действительно позволила Блэквуду создать строки необыкновенной эмоциональной силы, заставляющие уже не одно поколение читателей помнить описание того момента, когда Врата из Рога и Слоновой Кости открываются О'Мэлли. Однако писатель жил в реальном мире и понимал, что так называемое продвижение цивилизации так просто не остановить. Единственным путем преодолеть разрушение он считал распространение красоты в умах и сердцах детей. Так родилось у него желание создать мюзикл «Звездный экспресс» (*Starlight Express*).

Память о вообразяемых детских путешествиях в подаренном отцом вагоне слилась с впечатлениями от путешествий реальных, «Питером Пэнном» (*Peter Pan*) Дж. Барри и мыслями, высказанными в «Воспитании дядюшки Пола». Результатом стала книга «Пленник Волшебной страны». Там дети с помощью своего дяди отыскивают волшебную пещеру, где собирается звездная пыль, с помощью которой можно «разпутлить» (*unwumble*) запутавшихся в повседневных заботах взрослых и вернуть им ясность видения красоты мира. Блэквуд всегда тяготел к театру: еще в Америке в поисках работы он дебютировал на сцене в роли тюремщика гастролирующей труппы Дж. Гилмура в 1894 году, в Англии знал многих актеров и драматургов того времени, впоследствии долгое время жил в семье выдающегося шекспировского актера Генри Эйнли (1879–1945); дети Эйнли были ему как родные. Вначале роман для сцены адаптировала Вайолет Перн, музыку написал талантливый композитор и певец Клайв Кэрри, началась подготовка спектакля, принятого к постановке в лондонском «Хеймаркет тиэтр». Но тут началась Первая мировая война, и на ее фоне история, предложенная Блэквудом, выглядела всё более и более оторванной от жизни и несвоевременной. Однако сестра Вайолет, Мюриэл Перн, актриса, «заболевшая» этой пьесой, внушающей надежду на перемены к лучшему, не оставляла попыток найти постановщика. Ее попытки увенчались успехом, когда владелица лондонского «Кингсуэй тиэтр» Лина Эшвелл согласилась поставить ее на Рождество 1915 года. Музыка для спектакля написал Эдуард Элгар (1857–1934), с которым у Блэквуда установились самые дружеские отношения до конца жизни композитора. Краткий – всего два месяца – постановочный период, конечно, сказался на недостаточном соответствии декораций духу пьесы, но выразительная игра как взрослых, так и детей позволила «Звездному экспрессу» выдержать сорок представлений – немало для военного времени. Однако выявилась и недостаточность драматического действия в этой мистической по существу пьесе, о чем Блэквуду писал позже Дж. Б. Пристли, которого тот просил адаптировать текст для более современной постановки. Важность заложенного в мюзикл подтекста заставляла Блэквуда неоднократно возвращаться к нему, но больше авторский вариант произведения так и не увидел свет рампы. Но вот ирония судьбы: мюзикл «Звездный экспресс» существует – хотя и без Блэквуда и Элгара; он рассказывает историю паровозика в мире современных локомотивов. Звездная пыль присутствует в нем лишь в виде пародий на эстрадных звезд современности и недавнего прошлого – Майкла Джексона и Элвиса Пресли. Не гнавшийся за земными богатствами и вещами Блэквуд не смог придать своей пьесе широкую известность, но символ его мечты эхом коснулся воображения множества детей в Америке и других странах мира, посмотревших мюзикл Эндрю Ллойда-Уэббера и Роберта Стилгоу начиная с середины 1980-х годов до нашего времени. «Звездный экспресс» считается наиболее долгоживущим британским мюзиклом после «Кошек».

С Первой мировой войной связан болезненный для Блэквуда период сотрудничества с британской разведкой. Он долгое время желал как-то помочь фронту: как и большинству современников, ему непросто было разглядеть разрушительность конфликта для всех сторон, и он хотел быть чем-то полезен министерству пропаганды, но оно, видимо, не усмотрело в писателе нужных талантов. Эджернон помогал воспитывать польских сирот, пригретых Майей Кнуп, затем начал оформляться для работы в Красном Кресте, но слег на несколько недель

<sup>7</sup> Письмо от 3 января 1912 г. Цит. по: Ashley M. P. 172.

с лихорадкой от сделанных ему прививок. И вот в 1916 году ему предложили стать секретным агентом в Швейцарии. По стопам Сомерсета Моэма, который подвизался в этой роли без особого успеха, он должен был вербовать агентов, обеспечивать их невидимыми чернилами и передавать им деньги. Плюсом было прекрасное знание страны за многие годы, но нервное это занятие оказалось очень выматывающим для Блэквуда. Опасность заключалась в том, что в придерживающейся нейтралитета Швейцарии существовал строгий закон, грозивший разоблаченным секретным агентам любой из воюющих сторон по меньшей мере полугодовым тюремным заключением или штрафом в 1000 франков, но последствия могли быть и куда серьезнее. Однако даже не постоянная конспирация, когда приходилось печатать донесения в Лондон на рисовой бумаге в туалете, чтобы успеть спустить их в унитаз, если его застанут за этим занятием, а всё более угнетающее душу сознание, что предоставленная им информация обрекает кого-то на смерть, заставило Блэквуда через полгода подать в отставку. Последний год войны он работает в качестве расследователя Красного Креста по розыску пропавших без вести и раненых на территории Франции. Увиденное в госпиталях Руана, где как раз весной 1918 года началась эпидемия инфлюэнцы, и другие переживания, связанные с войной, выливаются в заметную депрессию, усугубившуюся в результате отдаления Майи. Барон Кнуп умер в 1917 году, оставив ее наследницей своего состояния, но только пока она вдовствует. Кто знает, не будь такого условия, сделал бы Блэквуд предложение той, которой посвятил столько произведений?

Чаще они стали видаться только после того, как она вышла замуж за состоятельного промышленника Ральфа Филипсона в особняке Анкомб, который благодаря неумной энергии Майи был перестроен в стиле итальянской виллы и стал одним из заметных культурных салонов. Но это будет еще через несколько лет, в 1922 году. А пока, чтобы отвлечься, Блэквуд окунается в театральную суету: он пишет пьесы, часть из которых поставлена. Этому немало способствовало установившееся знакомство с известным писателем и драматургом лордом Дансени, приходившемся Блэквуду дальним родственником через другого английского драматурга – Ричарда Бринсли Шеридана. Дансени жил по соседству с Эйтли, с семейством которых Блэквуд теперь поселяется в комнате над гаражом. Они часто видятся с Дансени, делясь впечатлениями от путешествий. Вместе с Бертрамом Форсайтом Блэквуд пишет две одноактные пьесы: «Через бездну» (*Crossing*, 1920) и «Белая магия» (*White Magic*, 1921). Но наибольшей популярностью пользуется написанная в соавторстве с Вайолет Перн пьеса «Через щелку» (*Through the Crack*), впервые поставленная в «Эвримен театре» в 1920 году и выдержавшая несколько постановок (кстати, постановка в январе 1925 года стала первой театральной работой Лоуренса Оливье как помощника постановщика). Она строилась вокруг основной идеи книг о дядюшке Поле: детская вера помогает Nikeи, Ионе и Тоби вместе с ним проникнуть в страну потерянных вещей и безвременно ушедших друзей; там же они встречают и умершую старшую сестру Nikeи, Росинку, и своей любовью, которую разделяли и замороженные зрители, возвращают ее в мир живых. Дети не могли дожидаться окончания антракта, так захватывало действие. Блэквуду удалось донести атмосферу чуда до множества зрителей.

Теперь энергии хватает на то, чтобы завершить вторую часть романа «Джулиус Ле Валлон» – «Сияющий посланник» (*The Bright Messenger*, 1921). Через десять лет, пережив Первую мировую войну, он вновь обращается к теме существования в нашем мире «пережитков» древнего мира, который населяли существа более высшего порядка, нежели люди, – теме «Кентавра». Герой романа Эдуард Филлери, незаконный сын горного инженера и дикарки с Кавказа, после странствий по свету основывает Духовную клинику – убежище для «безнадежных», тех, кто не находит себе места в современном мире. Так к нему попадают бумаги Мейсона и отпрыск Джулиуса, Джулиан Ле Валлон, в котором уживаются два существа – по-крестьянски добродушный юноша и Н. Ч., или «нечеловек», некогда исторгнутый в результате эксперимента и теперь замкнутый в человеческую оболочку. Блэквуд отсылает нас к восточной кон-

цепции мира дэвов<sup>8</sup>, но соотносит с активно развивающимся после войны представлением о новом человеке, сверхчеловеке, который должен прийти на смену нашему несовершенству; это представление явственно различается в философии экспрессионистов и научно-фантастических романах Герберта Уэллса («Пища богов», «Люди как боги»). Писатель по-прежнему считает, что этого можно добиться средствами искусства:

«...трудами Пана, мелодиями, красками, воплощенной красотой».

Немалый толчок развитию самосознания писателя придало знакомство с Петром Демьяновичем Успенским и Георгием Гурджиевым. Успенский развил предположение английского мыслителя Чарлза Хинтона о четвертом измерении; он высказал мысль, что это – время. Успенский в те годы читал лекции многолюдным аудиториям в различных городах Европы, проводил занятия по расширению сознания и, узнав о работе Гурджиева в том же направлении, примкнул к нему и помог собрать средства для школы в Фонтенбло. Несмотря на уважение к книгам Успенского, при личном знакомстве Блэквуд счел его недостаточно воодушевляющим, в то время как Гурджиев – с его включением в работу музыки и танца для достижения иного типа сознания, а не только его расширения – импонировал ему намного больше. Занятия в Фонтенбло в 1923 году научили Блэквуда, в частности, приводить себя в творческое состояние с помощью физической работы на изнеможение. Когда какое-то дело не продвигалось, он нередко брал топор и шел в лес валить сухие деревья, после чего возвращался «другим человеком». Также повлиял на него – своими представлениями о природе времени и нашей возможности влиять на исход событий – Дж. У. Данн (1875–1949), изложивший свои идеи в книге «Эксперименты со временем» (*An Experiment with Time*, 1927). Ряд рассказов этого периода творчества писателя так или иначе фокусируется на теме различного восприятия времени. Переработкой одного из них – «Страна Зеленого Имбиря» (*The Land of Green Ginger*, 1927) для «Би-би-си» – начинается третий, наиболее плодотворный творческий период Блэквуда – сотрудничество с радио.

Может показаться парадоксальным, но этот певец «гор, полей и лесов» одним из первых осваивает такой жанр, как радиопьеса: он перерабатывает для радио некоторые свои рассказы. Однако, если присмотреться внимательнее, тут не будет сильного противоречия: Блэквуда отвращало прежде всего замыкание людей в своей гордыне, отсечение питающих природных связей, а радиоволны – столь же естественный элемент среды, который может помочь донести до слушателей его идеи. Он адаптировал свои рассказы для радиопередач и по большей части сам же их и читал, а некоторые – переписывал в радиопьесы, разыгрываемые несколькими актерами. Первым он прочел рассказ, наполненный египетскими впечатлениями, – «От воды» (*By Water*, 1914) в несколько сокращенном виде и под названием «Пророчество» (*The Prophecy*).

В течение 1934–1939 годов репутация Блэквуда на радио прочно укрепилась благодаря его умению как рассказчика удерживать внимание аудитории и природному артистизму его богатого интонациями голоса. Однако успех не вскружил ему голову и уж, конечно, не заставил отказаться от привычного жизненного уклада, включавшего поездки на Капри, в Испанию, на лыжный сезон в Швейцарию или Австрию, общение с широким кругом знакомых на континенте. Но когда он возвращался в Лондон, то всегда принимал приглашения участвовать в радиопередачах, а вскоре к ним добавились и телепередачи.

<sup>8</sup> Дэва (*пали, санскр. देव*, «сияющий») в буддизме – название для множества разнотипных существ, более сильных, долгоживущих и более удовлетворенных жизнью, чем люди. Термин «дэва» принято переводить как «бог» или «божество», хотя дэвы значительно отличаются от божеств других религий. Мир, населенный дэвами, называется дэвалока (*санскр. देवलोक*), или мир (небеса) богов. Махаяна акцентирует внимание на преимуществах человеческого местопребывания перед небесами богов. Считается, что существа, испытывая наслаждения в божественных мирах, забывают о целях своего существования и не способны к сознательным решениям, в отличие от человека. Поэтому Бодхисаттва должен обязательно пройти человеческое рождение.

Вечером 2 ноября 1936 года состоялась трансляция первой телепередачи в Великобритании. Блэквуд принимал в ней участие, рассказав пару коротких историй. Он вспоминал, что ему накрасили губы и веки ярко-синей помадой для большей контрастности изображения и усадили в темной комнатке, окружив огромными машинами, испускавшими лучи света. Заметками пользоваться было нельзя, он весь взмок, однако старый конь борозды не испортил: его выступление было на высоте. Популярность Блэквуда-рассказчика, которого теперь могли слышать не только в гостиных друзей, а повсюду в стране, значительно выросла. Мы можем видеть теперь сходный эффект аудиокниг. Были изданы сборники избранных рассказов, автобиографические «Эпизоды из юности» (*Episodes Before Thirty*, 1923). Пишет он и ряд новых рассказов, самым известным из которых становится зловещая «Кукла» (*The Doll*, 1946).

В военные и послевоенные годы Блэквуд продолжает адаптировать свои вещи для радио и телевидения. Помимо рассказов о сверхъестественном, большое число поклонников завоевали книга о юном независимом коте и мудром попугае «Дадли и Гилдерой» (*Dudley & Gilderoy: A Nonsense*, 1929) и постановки по ней. На телевидении ему разрешают выступать без репетиций, постановщики восхищаются его бронзовым от загара, изборожденным выразительными морщинами, «как грецкий орех», лицом, на котором светло сияют проникновенные глаза. Худощавая, почти двухметровая фигура, безупречность истинного джентльмена, пунктуальность, неизменно располагающие к себе манеры – таким его запомнило большинство современников. Письма поклонников переполняли почтовый ящик восьмидесятилетнего писателя. В 1948 году в Букингемском дворце ему вручают орден Британской империи, а весной 1949-го – медаль Телевизионного общества – эквивалент «Оскара» – как самому выдающемуся деятелю года на телевидении. Блэквуда приглашали возглавить множество обществ, но он отклонял большинство предложений. Согласился он только стать президентом Гильдии писателей и с радостью – членом Королевского литературного общества. Работал он почти до самого последнего дня жизни. Еще в октябре 1951 года он записал последнюю передачу к Хэллоуину, а 10 декабря его не стало. Прах Блэквуда был развеян над горами в окрестностях Саанемозера, где он провел столько счастливых дней.

Исследователи творчества Блэквуда отмечали своеобразность подхода писателя к сверхъестественному. Хотя Лавкрафт и высоко оценил его «Ивы», Блэквуд не относил себя к почитателям творчества «затворника из Провиденса», тяготея скорее к психологическому напряжению «Поворота винта» Генри Джеймса. В письме к американскому писателю и издателю Августу Дерлету от 10 июня 1946 года он писал: «Меня обычно совершенно не задевает „чистый ужас“, то есть лишенный удивления перед Вселенной... Я задался как-то вопросом: отчего Лавкрафт по большей части оставляет меня равнодушным, ведь он так мастерски владеет словом и арсеналом кошмаров? Не оттого ли, что он громоздит одни материальные ужасы на другие, не соотнося их с более всеобъемлющими вопросами – космическими, духовными, буквально „неземными“? Нечто во мне инстинктивно отторгает разложение, могилу, переизбыток вещественных деталей»<sup>9</sup>.

Один из первых исследователей творчества Блэквуда, встречавшийся с ним при жизни и много расспрашивавший его, Питер Петцольд, автор книги «Сверхъестественное в литературе» (*Supernatural in Fiction*, 1952), считал Блэквуда совершенно особенной фигурой и предостерегал от включения его книг в ту или иную школу неоготики. Скорее Блэквуд оказался предшественником того направления, что легло в основу движения нью-эйдж, ведь в его творчестве ясно различима тема экологии. Специфика необычайного в его произведениях, прежде всего, – в представлении о космосе как о грозном для мелких духов, но прекрасном для тех, кто не побоится стать на крыло и присоединиться к вечному танцу, где каждый сможет найти себе место. Трудно найти слова для выражения всех красот окружающего нас мира, и даже истин-

<sup>9</sup> Цит. по: Ashley M. P. 321.

ному адепту-мистику иногда не удастся отыскать нужные, но у Эдджернона Блэквуда получилось приподнять для нас завесу. А так – каждый ищущий должен пройти через свой Храм Минувшего, чтобы распознать нетленность любви и узреть безграничное покрывало красоты, окутывающее мир. И каждому под силу почувствовать и укрепить гармонию мира. Никто не проклят.

*Лариса Михайлова, Москва, июнь 2022*

## I

*Для Вселенной мы подобны собакам и кошкам, случайно забредшим в библиотеку, – те видят книги и слышат разговоры, но не имеют ни малейшего представления об их сути.*

*Уильям Джеймс. «Вселенная с плюралистической точки зрения»<sup>10</sup>*

*...видение человека для него великая данность. Кому какое дело до аргументов Карлейла, Шопенгауэра или Спенсера? Философия суть проявление сокровенного человеческого характера, и все определения Вселенной есть лишь намеренно избранные реакции человека на нее.*

*Там же*

– Есть такие люди, которые сразу пробуждают к себе интерес, независимо от их пола и внешней привлекательности. Их число невелико, но членов этого племени удастся распознать без труда. Они могут не выделяться ни богатством, ни красотой, ни той живой предусмотрительностью, которую по глупости обычно именуют удачей, и всё же они обладают неким возбуждающим качеством, которое без утайки объявляет, что они превозмогли судьбу, обуздали насилие и держат поводья уверенной рукой.

Большинству из нас, захваченным их своеобычностью и желающим постичь, что они такое, ясно, что от простого любопытства недалеко до зависти. Им ведомо то, чего мы тщетно ищем. Причем этот диагноз, поставленный с первого взгляда, как бы походя, недалек от истины, ибо главной отличительной чертой таких людей является то, что они вступили в законное наследство. Печать этого лежит на челе, светится в глазах. Отыскав неким образом недостающий кусочек мозаики, освобождающий из-под власти головоломной загадки, они знают, кто они и куда идут; более того, у них нет никаких сомнений, что они на верной дороге. Сознание незначительности существования, одолевающее большинство людей, минует их.

Хотя бы уже по этой причине, если бы не было и других, – продолжал О'Мэлли, – я расцениваю свой опыт общения с этим человеком памятным свыше обычного. «Если бы не было других», сказал я, ибо с самого начала присутствовала еще одна. Скорее всего, это окутывающее его ощущение необычной величины или, вернее, массивности – головы, черт лица, глаз, плеч, да, спины и плеч в особенности; именно это поразило меня, когда я заметил его громадную фигуру среди прогуливавшихся по палубе парохода в Марселе, еще даже прежде, чем он обернулся, и выражение на его крупном лице пробудило мое любопытство, интерес и зависть. В чертах лица явственно читалась уверенность знающего, оттененная некоторым удивлением, говорившим, что то, что он узнал, он узнал совсем недавно. Не замешательство, скорее легкое изумление, как у беззаботного ребенка, почти как у животного, светилось в его больших карих глазах...

– То есть, вы хотите сказать, что вас сначала привлекли его физические качества, а лишь затем душевные? – спросил я, возвращая его к теме разговора, ибо в любой момент ирландское воображение с готовностью уводило его с избранного курса.

Признавая, что я попал в точку, он добродушно рассмеялся. Потом, посерьезнев лицом, ответил:

– Думаю, так оно и было. Именно ощущение его громадности подстегнуло мою интуицию – знать бы почему – и, в свою очередь, послужило толчком к дальнейшему. Размеры его тела не

---

<sup>10</sup> Уильям Джеймс (1842–1910) – выдающийся американский философ и психолог, основатель прагматизма, развивавший традиции британского эмпиризма в ряде работ, в том числе одном из последних своих сочинений – трактате «Вселенная с плюралистической точки зрения» (*A Pluralistic Universe*, 1909. – *Здесь и далее* — примеч. переводчика).

подавляли, как бывает с крупными людьми, скорее они открывали нечто. Тогда, конечно, я не мог осознать тут возможной связи. Просто притягательность личности этого человека охватила меня до такой степени, что мне захотелось сейчас же подружиться с ним. Тебе известно это свойство моей натуры, со мной так всегда. – Он нетерпеливо отбросил волосы со лба. – Ну, или довольно часто. С первого взгляда. Старина, поверь, он словно овладел мною.

– Верю, – откликнулся я. Ибо Теренс О’Мэлли всю свою жизнь не признавал полумер.

## II

*Дружелюбный и непоседливый дикарь – кто он? Ждет ли он цивилизации или уже превзошел ее?*

**Уолт Уитмен**

*Мы погружены в некоторое особое состояние общества, называемое нами Цивилизацией, но даже наибольшие оптимисты не считают его полностью желанным. А некоторые даже почитают его своего рода болезнью, которой народам неминуемо приходится переболеть... И если история рассказывает о множестве народов, подвергавшихся ей, множестве павших под ее натиском и тех, что еще переживает ее приступы, неизвестен ни один случай, чтобы народ оправился в достаточной мере и перешел к более нормальному и здоровому существованию. Другими словами, развитие человеческого общества пока ни разу (сколько нам известно) не смогло перейти через определенную и, судя по всему, финальную стадию процесса, именуемого Цивилизацией, – на этой стадии оно всегда терпело крах или застывало. Эдуард Карпентер. «Цивилизация: причина возникновения и способ исцеления»<sup>11</sup>*

Сам по себе О'Мэлли был личностью совершенно незаурядной. В смеси ирландской, шотландской и английской крови, текшей в его жилах, явно преобладала первая, и кельтская основа одерживала верх. Этот здоровяк, бесребреник и бродяга по собственному выбору вел жизнь почти изгнанника, скитаясь до самого конца, как перекасти-поле. Того, что он зарабатывал, едва хватало, чтобы прокормиться, он так до конца и не повзрослел. Да этого и не могло случиться в общепринятом смысле этого слова, потому что девиз его был прямо противоположен *nil admirari*<sup>12</sup> – он не уставал поражаться тайнам мироздания. Он вечно расшифровывал нескончаемый гороскоп Жизни, не продвигаясь, правда, дальше дома Удивления, на самом куспиде<sup>13</sup> которого он родился, вне всякого сомнения. Как он любил говаривать, цивилизация ослепила людей, пустив им пыль в глаза.

Его, страстного приверженца жизни вне городских стен, иногда охватывал порыв духовного поиска, когда всё внешнее спадало, подобно окалине, и он погружался в состояние сродни экстазу. Когда же он находился в городе, в скученности себе подобных, где каждый стремится пробиться повыше, такое состояние его никогда не посещало – только на крыльях ветра под звездами в пустынных местах. Туда он иногда уносился, чтобы успеть увидеть конец длинной процессии богов, проходившей поблизости. И на мгновение удавалось застать Вечность врасплох.

Ибо в его существе полыхали настроения Природы, не менее яркие, чем воспоминания о близко знакомых людях, и столь же непохожие друг на друга: любовь и нежность лесов, благоговение и магия морей, проникнутые меланхолическим покоем и молчанием мудрых старых спутников равнины, и широкие горизонты, и пленительный ужас гор, которые он до конца не понимал, вероятно оттого, что духовно был им далек.

---

<sup>11</sup> Эдуард Карпентер (1844–1929) – английский писатель и философ, оказавший значительное влияние на культуру рубежа XIX–XX вв. благодаря впечатляющему слиянию воедино европейской культуры и восточных учений, в частности йоги. Книга «Цивилизация: причина возникновения и способ исцеления» (*Civilisation: Its Cause and Cure*, 1889) закладывала также основы экологического движения.

<sup>12</sup> Ничему не удивляюсь (*лат.*).

<sup>13</sup> Куспид – в астрологии вершина дома – точка зодиака, обозначающая начало данного дома.

Словом, Космос для него был духовен, а настроения Природы – трансцендентными космическими проявлениями, вводящими его в состояния особой экзальтации и раскрытости. Природа широко распахивала врата глубинной жизни его души. Она проникала туда и завладевала им, обволакивая и погружая его мелкое «я» в безграничность своего существа.

Хотя он вполне обладал опытом жизни современного человека и временами пронизательно судил о нем, в нем крылось волнуемое море удивительно диких, примитивных инстинктов. Неутолимая жажда, зов дикой природы таились у него в крови, а тяга к ней была безудержна. Пожалуй, это было даже нечто большее, чем дикая природа, служившая лишь символом, первым шагом, указанием на путь бегства. Спешку и ухищрения современной жизни он сносил с видимыми муками. Мириады хитроумных выдумок цивилизации он презирал, и все же, будучи человеком, отчасти предусмотрительным, редко давал себе полную волю. Своих более диких и простых инстинктов он страшился. Стоило поддаться – и неминуемо произошло бы что-то страшное, сама основа его существа подверглась бы неведомому насилию, и тогда придется насовсем порвать с этим миром. Поддаться означало ограбить свою душу, чему он не мог дать случиться. Полная капитуляция влекла за собой дезинтеграцию, распад личности, вплоть до полной потери индивидуальности.

Когда же душевный бунт нарастал до критического состояния, он удалялся в уединение, стараясь усмирить его, но эти попытки восстановления порядка хотя и приносили некоторое облегчение, не были кардинальными, в ответ давление изнутри нарастало, желания умножались и усиливались, приближалась точка окончательного пресыщения.

«Наступит день, – говорили друзья, – когда плотину прорвет». И, как ни толкуй эти слова, они говорили правду. О’Мэлли тоже понимал это.

Одним словом, это был человек переменчивых настроений, которыми управляли глубинные процессы, с большим трудом, чем прочие, признававший существование в своей душе другого, подспудного «я», внешние проявления которого были лишь его проекциями на поверхность, маскирующимися под полнокровную личность.

Объединяющее все проекции эго было специфического свойства, мастерски охарактеризованного на первых страницах вдохновляющей книжки «Зов Пана»<sup>14</sup>. О’Мэлли совершенно никуда не годился как член общества, как гражданин – и знал это. Порой даже стыдился.

Время от времени, как и в период того «памятного приключения», когда ему исполнилось тридцать, он выступал в роли иностранного корреспондента, но и в этой роли был журналистом того рода, который не просто собирает новости, но открывает их для себя и людей, создает их. Получая его материалы, умудренные опытом редакторы, направлявшие его на задание, хорошо помнили, отчего так называется их должность. Тогда его как раз послали собирать материал среди кочующих племен Кавказа, и более подходящей кандидатуры было не сыскать, настолько хорошо он воспринимал красоту, разбирался в человеческом характере, предугадывал и умел выделить наиболее живое и красочное и к тому же выразить это на бумаге сжато, но непосредственно – слова порождались его яркими переживаниями.

Ко времени нашего знакомства он жил, собственно, нигде, постоянно находясь в дороге. Но тем не менее снимал комнатенку недалеко от Паддингтона<sup>15</sup>, где постепенно накапливались его книги и бумаги – с них некому было смахнуть пыль, но там они были в целостности и сохранности – и где обнаружили записи о его приключениях, когда судьба сделала меня распорядителем оставшегося после него небогатого имущества. Ключ от комнаты с предусмотрительно привязанной костяной биркой обнаружился у него в кармане. Такая практическая сметка, впервые им проявленная, указывала, что в той комнате нечто представлялось ему весьма цен-

<sup>14</sup> «Зов Пана» (*The Plea Of Pan*, 1901) – сборник эссе в виде коротких рассказов английского военного журналиста и писателя Генри Невинсона.

<sup>15</sup> Паддингтон – район в Лондоне.

ным для других. Причем это не могло относиться ни к беспорядочному собранию букинистических книг, ни к сотням фотографий и рисунков без подписи. Не рукописи ли это рассказов, дневниковые записи и наброски сценок, обнаруженные мною почти аккуратно подобранными и разделенными указателями с заглавиями в грязноватой брезентовой сумке?

Часть из них он пересказывал мне, причем в более живой манере, чем ему удалось запечатлеть на бумаге, часть были мне неизвестны, многие оказались незаконченными. Всё можно было назвать по меньшей мере необычным. И всё это, без сомнения, произошло с ним в тот или иной период его бродяжнической жизни, хотя местами он прятался за излюбленным Гофманом приемом переведения действия в третье лицо.

Передаваемому мне на словах я мог лишь верить, ибо для него, по крайней мере, эти истории были истинны. никоим образом нельзя было считать их выдумками, так как появлялись они в моменты прозрения внутренней структуры событий, непрозрачных постороннему глазу. Десять человек, видевших, как змея переползала через тропинку, по-разному опишут это, но есть еще одиннадцатый, который увидит нечто большее, чем просто змею, тропинку и движение. О'Мэлли как раз и был таким одиннадцатым. Он видел всё в целом, озирая его с птичьего полета неким внутренним оком, когда прочие могли разглядеть лишь ограниченные аспекты с различных углов зрения. Его обвиняли в том, что он привирает, поскольку он говорил о деталях, угадывая их из-за горизонта. Прежде чем они покажутся и сделаются видимы тем, кто не дождался их появления и ушел.

То есть я хочу сказать, что в обыденных событиях он подмечал влияние незримых проточим приливов и отливов. И независимо от расстояния или времени, отделявших его от предмета наблюдения – будь то минута или миля, – он постигал всё целиком. Пока остальные десять человек распространялись о том, к какому виду относится змея, его захватывали красота тропинки, великолепие быстрого скольжения, понимание природы побуждающих, препятствующих, меняющихся сил.

Пока прочие рассуждали о том, куда направлялась змея, о ее длине в дюймах и скорости в сантиметрах, он, минуя эти несущественные подробности, погружался в самую суть. И в этой особенности, разделяемой с прочими людьми мистического настроения, проявляется некое любопытное презрение к Рассудку. Для него интеллект, на который столь полагается современный мир, был не более чем ущелье, усыпанное костями. И почитать его значило почитать лишь форму. Без внутренней правды, потому что ее можно было постичь, лишь став ею, ощутив своим существом. Словом, интеллект критичен, а не созидателен, а для О'Мэлли быть лишенным воображения казалось худшей из форм неразумия.

– Сухие, бесплодные умы! – восклицал он с кельтской безудержностью. – Сумели ли, спрашиваю вас, все философии и науки мира хоть на дюйм продвинуть развитие единой души?

Для него неприметный Мечтатель, плетущий где-нибудь в мансарде свою паутину красоты, был куда более велик, чем острейший критический ум. Ибо первый, сколь бы несовершенной ни была его манера, пусть заикаясь, но всё же пытался вымолвить нашептанное Богом, а второй лишь разрушал мыслительные построения других людей.

Это умственное расположение заслуживает упоминания, чтобы лучше истолковать произошедшее. Некоторым необъяснимым образом Рассудок и Интеллект как таковые почитались О'Мэлли чрезмерно боготворимыми современными людьми. Сосредоточившись исключительно на них, сознание раздуло их значимость в экономике духа. Сотворить из них кумира значило поклоняться пустому и ущербному божеству. Разум должен оберегать развитие души, а не быть самоцелью. Подобно листу наждачной бумаги, он должен устранять неровности, обожествлять же его – значит придавать одной из частей непропорционально большое значение.

Нельзя сказать, что О'Мэлли был столь неразумен, чтобы презирать Разум как таковой, но он обладал достаточной «мудростью» – а не «интеллектом»! – чтобы признать тщетность

поверять им сферу духовную. Для него существовало понимание более фундаментальное, чем достигается Разумом, а именно понимание внутреннее и естественное.

– Величайший Учитель из всех, – слышал я из его уст, – не держал интеллект в чести, и кто же, скажите, может отыскать Бога, планомерно занявшись поисками? А чего же еще и искать?.. Разве, не став как дети, – дети, которые чувствуют и никогда не подвергают ничего анализу, – можно войти в царство Господне? И где окажутся тогда все великие умы перед великим Белым Престолом, если простой человек с сердцем ребенка легко возьмет над ними верх?

А в другой раз он сказал, хотя во взоре и сквозило некоторое замешательство:

– Убежден, что следующий шаг должен привести к Природе. Разум потрудился немало за минувшие века, а теперь не дает нам продвинуться дальше. Именно по той причине, что не способен ничего создать для внутренней жизни, единственно имеющей отношение к реальности. Необходимо вернуться к Природе и чистой интуиции, больше полагаться на то, что лежит теперь лишь в подсознании, вернуться к тому сладостному твердому руководству Вселенной, которое мы отвергли вместе с «примитивностью»... к духовному разуму вместо обычной рассудочности.

Причем, говоря о Природе, он не подразумевал возврата к дикому состоянию. При всем сумбуре такой идеи не было высказано вовсе. Скорее он жаждал неким труднодостижимым способом достичь такого будущего состояния Человека, когда бы он, обладая высшими достижениями Разума, вернулся бы к жизни под руководством инстинкта и низвел бы современную интеллектуальную личность с места предводителя на более подобающее – поводыря. Именно это он называл возвратом к Природе, но я всегда чувствовал, что на самом деле он подразумевал необходимость вернуться к состоянию родства со Вселенной, утерянному из-за обожествления интеллекта. Люди в наше время гордятся, что они выше природы и полностью отделены от нее, О'Мэлли же, напротив, стремился к развитию, если не к возрождению, безошибочного, инстинктивного понимания, вырастающего из родства с нею, которое – в конечном счете – руководит как зверем, так и человеком, ведет дикую пчелу в улей, перелетного голубя – домой, а человеческую душу – к Богу.

Поскольку такой настрой, или «ключ», как он его называл, полностью подытоживал внутреннее бремя ирландца, он сознательно перестал накапливать знания, положив тем самым конец сугубо интеллектуальному развитию. Название и семейство, к которому относилась встреченная на тропинке змея, интересовали его таким образом в последнюю очередь. Однако он повсеместно и неотступно искал духовных связей, неразрывно объединяющих его со змеей и прочим мирозданием. Всю жизнь он отправлял отряды смелых мыслей «на запад» – колонизировать вымышленные страны, которые возникали в его мечтах и снах. В полном соответствии со своими убеждениями он «думал» чувствами в той же мере, что и головой, и при знакомстве с местами сбивчивым повествованием его книги помнить об этом странном свойстве характера, этой страсти представляется особо важным. Причем она развивалась внутри, а не налагалась извне. Его существо могло включать в себя всю Землю и чувствовать вместе с ней, в то время как рассудок оказывался лишь способен подвергать критике частности такой включенности, тем самым умаляя ее.

Множество раз, когда верить рассказу О'Мэлли становилось сложно, он принимался извиняться передо мной за свой подход. Именно великолепие убежденности придавало убедительности его рассказу, потому что позднее, обнаружив повествование перенесенным на бумагу, я увидел, что воздействие ослабело. Дело в том, что знаки письменной речи не в состоянии были передать того поразительного груза смысла, с легкостью доносящего инстинктивным выбором жестов, интонацией и взглядом. В его исполнении это выглядело неподражаемо и исключительно выразительно...

Неполных тридцати лет он уже успел опубликовать томика два любопытных рассказов. Все без исключения затрагивали тему расширения личности – предмета, бесконечно его интересовавшего и понятного, ибо все они основывались на личном опыте. Он просто пожирал книги по психологии, даже в наиболее фантастической и замысловатой форме, и пусть техника письма значительно уступала его силе видения, эти странные книги имели определенную ценность и подкрепляли его рассуждения на данную тему. В Англии его произведения лежали мертвым грузом, но перевод на немецкий привлек к ним более широкий круг читателей, отличавшихся большей вдумчивостью. Обычная публика, незнакомая с Салли Бошамп № 4<sup>16</sup>, Элен Смит<sup>17</sup> или доктором Ханна, находили в его проникновении в суть раздвоения личности и беспрецедентного расширения сознания лишь пример экстравагантности и безудержной игры воображения. Тем не менее правдивая подоплека рассказов О’Мэлли жидилась на его личном опыте. Сборники принесли ему несколько полезных знакомств там и сям, среди которых был и немецкий врач Генрих Шталь. Несколько месяцев ирландец скрещивал с ним шпаги в словесных баталиях на страницах писем, которыми они время от времени обменивались, пока наконец не повстречались на пароходе, где Шталь служил судовым врачом. Знакомство переросло почти в дружбу, хотя приятели придерживались почти противоположных мнений. Но время от времени они всё же встречались.

Во внешности О’Мэлли не было ничего особенно примечательного, разве что контраст светло-голубых глаз с темными волосами. Ходил он постоянно в одном и том же костюме из серой фланели с небольшим воротником-стойкой и обтрепанным лоснящимся галстуком – ни в чем другом я его, пожалуй, не видел. Среднего роста, изящного сложения, с почти девичьими руками. Живя в городе, он не забывал бриться и выглядел вполне прилично, но, путешествуя, отращивал усы с бородой и переставал стричь волосы, которые падали на лоб и глаза спутанной массой.

Поведение его сильно зависело от настроения. Порой живо на всё реагирующий, иногда он на несколько дней погружался в задумчивость, не замечая ничего вокруг, и тогда движения и действия его вызывались скорее подсознательным инстинктом, чем сознательной волей. Причем именно это служило одной из причин одиночества, приносившего, вне всякого сомнения, ему более всего огорчений – людей переменчивость его настроений ставила в тупик, и они не могли решить, какая из крайностей выражала его характер вернее всего. Посему его считали человеком неудобным, неприемлемым, уклончивым, общение с ним не приносило удовлетворения, на него нельзя было рассчитывать, и, со своей точки зрения, они были, без сомнения, правы. Так недостатки собственного темперамента привели к тому, что он не получал сочувствие и дружбы, которых так жаждал. Общение с женщинами носило самый поверхностный характер, но в нем он некоторым образом не очень сильно нуждался. С одной стороны, женский элемент в его природе был слишком силен, отчего он, в отличие от множества мужчин, не испытывал той незавершенности, которую с великим искусством могут восполнять женщины, а с другой – что являлось очевидным следствием первого, – когда они появлялись в его жизни, то давали ему намного больше того, с чем он был в состоянии справиться. Предложение превышало потребности.

Таким образом, хотя, вероятно, он никогда не влюблялся, О’Мэлли, вне всякого сомнения, познал то возвышенное великолепие преданности, означавшее потерю себя в других, экзальтацию любви, не ищущей награды обладания, поскольку сама есть одержимость. Он был чист и невинен в том смысле, что ему и в голову не приходило вести себя по-иному.

---

<sup>16</sup> Наблюдения за Салли Бошамп, опубликованные в Англии в 1906 г., являются классическим примером расщепления личности.

<sup>17</sup> Элен Смит (настоящее имя Кэтрин-Элиз Мюллер, 1861–1929) – известный на рубеже XIX–XX вв. швейцарский медиум, считавшая себя реинкарнацией индийской княжны и Марии-Антуанетты; кроме того, она утверждала, что находится в контакте с обитателями Марса. Информация записывалась методом автоматического письма.

Главная причина его одиночества заключалась, исходя из моего скромного понимания его сложной натуры, в том, что ему не пришлось найти сочувственного и понимающего слушателя, которому вполне понятны были бы таящиеся в глубине души стремления, терзающие его сердце. Одиночество порождало страх, нередко охватывавший его, – казалось, что весь остальной мир, по крайней мере его здравомыслящее большинство, отвергал его. Даже я, любя его и всегда готовый выслушать, до конца не осознавал их значения. Они намного превосходили то, что называют зовом дикой природы. Он жаждал не столько дикости и отсутствия цивилизации, а такого мира, который цивилизации вообще никогда не знал и, возможно, в ней вообще не нуждался, жаждал свободы в незапятнанном мире.

Думаю, он никогда до конца не понимал, отчего столь неукротимо противится современному состоянию вещей и почему общение с людьми вызывало в нем такое омертвление, что ему приходилось бежать от них на Природу, чтобы вновь обрести жизнь. Заботы разных наций и государств, которым они предавались с головой, представлялись ему столь неприкрыто тщеславными и пустыми, что он искренне не мог понять, ни в коей мере не притязая на святость, почему для людей победа над Природой во всех многообразных видах настолько важнее победы над собой. То, что по всеобщему согласию называлось Реальностью, ему всегда представлялось грубой, преходящей, откровенной Нереальностью. Любовь к Природе у него намного превышала простую радость бури инстинктов язычника. Простая жизнь, к которой он тяготел и стремился, представлялось ему первым шагом к обретению достойной, благородной, свободной жизни для всех. Через отрицание внешних атрибутов, которые он ненавидел, душа освободится для внутреннего развития. Теперь цивилизация давила, угнетала, убивала душу. Поскольку так думала лишь жалкая толика людей, верно, чувствовал он, значит, где-то вкралась ошибка. Ибо все люди, от государственного чиновника до машиниста паровоза, в один голос утверждали, что накопление собственности обладает ценностью и что важность материальных приобретений реальна... Что же касается его самого – за утешением он всегда обращался к Земле. Ему мудрая и чудесная Земля раскрывала свой разум и глубину сердца как мало кому другому. На Природе он мог двигаться с завязанными глазами, но отыскать путь к силе и сочувствию. И тогда в нем просыпалось благородство, отрицаемое мелочным миром людей. Он часто сравнивал то неглубокое участие, которое получал от повседневного общения с людьми или даже от весьма представительного собрания, с мощной поддержкой, обретаемой после прогулки в лес или в горы. Первой обычно не хватало и на два дня, а вторая оставалась и даже пребывала целые недели, а то и месяцы, благословенно осеняя его.

И так выходило, что либо из-за проникновения в суть вещей, либо по неведению, но он ощущал себя всё более и более одиноким в жизни, отчего еще сильнее отворачивался от людей к Природе.

Кому-то это может показаться глупым, но я порой осознавал, что в нем кроется некое неопределимое свойство, делающее его наиболее пригодным для жизни, не стесненной современными удобствами и условностями, а не просто обходиться без оных, уже их познав. Безусловно, он обладал некой детской, трансцендентной невинностью, наивной, привлекательной – и совершенно невозможной. Думаю, именно в его неловкости существования при современных удобствах это отчасти и проявлялось. Многосторонняя система духа современности подавляла его, суэта, роскошь и искусственность страшно выводили его из равновесия. Страх перед городами был у него в крови.

Поэтому, когда я описываю его как своего рода изгоя, таковым он был – как вольно, так и помимо своей воли.

– Полученное благодаря разуму ничто по сравнению с понесенными потерями...

– Но это всего лишь мечты, приятель, всего лишь сны, – остановил я его сочувственно, потому что понимал: так ему делается легче. – Твое творческое воображение слишком активно.

– Богом клянусь, – тепло откликнулся он, – должно же где-то быть такое место, или, что одно и то же, состояние умов, где это сильнее, чем мечты. И больше того, благословенно будь твое верное старое сердце, когда-нибудь я туда доберусь.

– Ну уж наверняка не в Англии, – заметил я.

Он поглядел на меня, и в глазах его уже зажглась новая мечта. Потом он, как обычно, фыркнул и выставил перед собой руку, как бы отодвигая настоящее от себя подальше.

– Мне всегда нравилась одна восточная теория – или даже не восточная, а просто древняя, – согласно которой страстные желания создают такое место, где они осуществляются...

– Субъективно...

– Конечно, ведь «объективно» – означает лишь частично. Я хочу сказать, что Небеса строятся силой желания и страстного ожидания всю жизнь. Твои собственные размышления творят их. Что это, как не живая мысль?

– Еще одна мечта, Теренс О’Мэлли, – рассмеялся я, – но прекрасная и манящая, как сон.

Споры утомляли его. Ему нравилось изложить свое видение, наполнить картину деталями, вдохнуть горячее дыхание жизни – и так оставить. Спор лишь принижал, дробил целое на части, не проясняя, а критика разрушала картину, запечатывая источник жизни. Любой глупец мог спорить, мелкие умишки, неспособные принять ничего нового, готовы были раскритиковать что угодно.

– Пусть сон, но до чего хорош! – воскликнул он, глядя на меня в упор, но потом расхохотался. От воодушевления ирландский акцент стал намного заметнее. – Куда лучше видеть сон и потом пробудиться, чем вовсе не видеть снов.

И из его уст полилась страстная ода О’Шоннесси «Мечтателям мира»:

Мы создаем мелодии,  
И мы же – мечтатели снов,  
Бродя в одиночку по молу  
И сидя у тихих ручьев.

Под бледной лунной долей  
Теряем миры, и мы же —  
спасители миров,  
Но мы же по чьей-то воле  
Сотрясатели самых основ.

Чудесные вечные строки  
Величье столиц возводят.  
А из замечательной сказки  
Мы лепим империи маски.

Мечтатель пойдет и в охоту  
Добудет себе корону,  
А трое под новые ноты  
Империи славу зароят.

Это мы во времена оны,  
Погребенные в дали веков,  
Одним вздохом воздвигли  
Ниневию,  
Взлетом радости сам Вавилон.

А потом мы их же низвергли,  
поведав  
Миру старому вещие сны:  
Каждый век – это чья-то мечта  
на излете  
Или та, что стремится прийти.

И эта страсть к бесхитростной невинности и красоте старого мира гнездилась в его душе, неутолимая, питающая саму себя.

### III

*Одинок – скажете тоже! Отчего мне ощущать одиночество?  
Разве наша планета не находится на Млечном Пути?  
Генри Торо*

С криком пронесся март, после и апрель уже принялся сладко нашептывать вслед насыщенным запахами весны ливням, когда О'Мэлли поднялся в Марселе на борт каботажного парохода, следовавшего в Левант и далее в Черное море. Мистраль делал жизнь на берегу невыносимой, но по морю неслись стада белогривых лошадей под ярко-голубым, как на детском рисунке, небом. Корабль отошел минута в минуту, а О'Мэлли, по своему обыкновению, поднялся на борт перед самым отплытием; на заполненной людьми верхней палубе он сразу выделил одного мужчину с мальчиком, удивившись сначала их странной массивности, а затем снова, не найдя ничего конкретного, что подтверждало бы это первое впечатление. И смех, родившийся у него в сердце, замер на губах.

Потому что это впечатление массивности, едва ли не гнувшей плечи к земле, при ближайшем рассмотрении не подтвердилось. Хотя мужчина был ширококостен и хорошо сложен, с мускулистыми спиной и шеей, с крепким торсом, но ничего из ряда вон. Лишь при взгляде мельком возникало это ощущение огромности, стоило же присмотреться – впечатление исчезало. О'Мэлли рассматривал пассажира с уважительным вниманием, тщетно пытаясь отыскать, что именно в складе его фигуры странным образом придавало вид огромности. Мальчик рядом с ним, по всей видимости сын, обладал тем же странным качеством – осязуемым, но с определенностью не фиксируемым.

Двигаясь в направлении своей каюты и размышляя, какой нации они могут принадлежать, О'Мэлли шел непосредственно за ними, раздвигая локтями французских и немецких туристов, и тут отец вдруг обернулся. Их взгляды встретились. О'Мэлли вздрогнул.

«Ого!» – пронеслось у него в мозгу.

На крупном лице, вполне благодушном, несмотря на грубые, обветренные черты, светились широко распахнутые глаза, какие бывают у животного или ребенка, оказавшегося вдруг посреди толпы. В них читалось выражение не столько робости или испуга, сколько незащищенности, – это были глаза существа, за которым охотятся. По крайней мере, сразу, но в ту же секунду горячий кельт уловил иное выражение: взгляд загнанного существа, наконец заметившего убежище. Первое выражение выплеснулось на поверхность, а потом быстро убралось, словно зверек в безопасную норку. Но прежде чем исчезнуть, оно просемафорило весть предупреждения, приветствия, объяснения – точнее он не мог определить – другому такому же существу – ему!

О'Мэлли застыл на месте, не в силах отвести взгляд. Он бы заговорил, потому что приглашение к беседе было явственным, но у него перехватило дыхание и отнялся дар речи. Посматривая на него искоса, мальчик льнул к отцу-великану. Наверное, около десяти секунд между ними троими шел обмен проникновенными взглядами... после чего ирландец в замешательстве и довольно сильном возбуждении завершил это молчаливое знакомство едва заметным кивком и медленно прошел мимо, рассеянно раздвигая остальную публику, в свою каюту на нижней палубе.

В глубине души зародилась неопишуемая тяга к тому, что он угадал в этой паре, чему-то родственному ему, хотя он и не мог найти слов, чтобы выразить это точнее. Им сначала овладели то ли неловкость, то ли удивление, но то, более глубинное чувство вскоре вытеснило их. Из атмосферы, окружавшей отца с сыном, к нему молча взывало нечто всепобеждающее; оно было полно смысла, полускрыто, еще недостаточно поднялось на поверхность, чтобы можно

было признать его и обозначить. Но они сами признали его наличие. Оба знали. Оба ждали. И это было чрезвычайно волнующе.

Прежде чем начать распаковывать необходимые вещи, О'Мэлли долго сидел на койке и размышлял, силясь уловить в грохоте обрушившихся на него переживаний то слово, которое могло бы принести облегчение. Это странное впечатление громадности, не соответствовавшее действительным размерам, это выражение поиска убежища и то следующее выражение уверенности, что путь найден, – он чувствовал, что всё это явления одного порядка. Именно это скрытое свойство мужчины затронуло и воспламенило его сознание, когда их взгляды мимо-летно встретились. А его оно взволновало столь глубоко именно оттого, что крылось в нем самом. Причем незнакомец уже точно знал, в то время как он сам лишь подозревал до сей поры. Что это было такое? Отчего оно вызывало радость и страх одновременно?

Слово, которое всё ускользало, кружась, словно котенок за своим хвостом, и не принося объяснения, было «одиночество»... то одиночество, о котором сказать можно было лишь шепотом. Ибо это было одиночество на грани избавления. Если же объявить о нем слишком громко, мог появиться некто неизвестный и лишит избавления. А этот мужчина с мальчиком сумели бежать. Они отыскиали путь на свободу и теперь были готовы – и даже жаждали – указать его другим узникам.

Ближе к объяснению О'Мэлли подобраться не мог. Он лишь начал смутно осознавать, что привело его в чрезвычайно счастливое возбуждение.

– Ну а эта огромность? – спросил я, ухватившись за единственную конкретную деталь посреди тумана его рассуждений. – Как ты это объяснил? Ведь тому должна же была быть определенная причина?

В тот летний вечер, когда я впервые услышал от него эту историю, мы шли по берегу реки Серпентайн. В ответ на мои слова он повернулся и уставился на меня голубыми глазами, в которых серьезное выражение перемежалось с насмешливым.

– Огромность, ощущение громадного размера, величины, – отвечал он, – должны были быть отражением некоего свойства сознания, коснувшегося меня на парапсихическом уровне, оказав непосредственное воздействие на мое сознание, а вовсе не на зрение.

При рассказе он использовал сравнение, которое потом в записи опустил, оттого что присутствие ему чувство юмора подсказало – как ни крути, всё равно будет выглядеть гротескно, хотя на самом деле впечатление скорее было трогательным.

– Будто бы, – рассказывал О'Мэлли, – они на своих мощных спинах несли просторный черный плащ, на присутствие которого указывали бугры и выпуклости, но они никоим образом не выглядели уродливо, а даже вполне привлекательно и естественно – именно это придавало впечатление гигантского размера. Само же тело, хотя и крупное, было вполне обычных размеров. Но дух тем не менее скрывал иные формы. И некий намек на них неведомым образом коснулся моего сознания. – Затем, видя, что мне нечего ответить, он добавил: – Скажем, когда человек сердится, можно себе представить его красным, а когда завидует – зеленым! – И рассмеялся. – Теперь понимаешь? Это было вовсе не физическое качество!

## IV

*Мы думаем, исходя из опыта лишь малой толики прошлого, но  
желаем, стремимся и действуем, опираясь на всю его глубину, включая  
момент, когда сложилась наша душа.*

*Анри Бергсон*

Состав пассажиров был ничем не примечательным. Группа французских туристов направлялась в Неаполь, а немецких – в Афины, несколько деловых людей – в Смирну и Константинополь, а горстка русских возвращалась домой через Одессу, Батум или Новороссийск.

Соседом по каюте у О'Мэлли, занявшего верхнюю койку, был небольшой, кругленький краснолицый канадец *drummet*, продававший уборочные машины – косилки, молотилки и т. п. Название машин, их цена и условия приобретения составляли всю его вселенную, ими он владел на нескольких языках, не имея представления больше решительно ни о чем. Он был вполне добродушен и соглашался на всё, только бы его не трогали.

– Не будете возражать, если я пока не стану гасить свет и немного почитаю? – спросил О'Мэлли.

– Я вообще не возражаю почти ни против чего, – последовал жизнерадостный ответ. – Я полностью неприязнителен. Поэтому не стоит беспокоиться. – После этих слов он повернулся к стенке. – Старый путешественник, – добавил он приглушенно из-под одеяла, – принимаю всё как есть.

Так и было, поэтому ирландца это его свойство «принимать всё как есть» беспокоило только в том отношении, что сосед вовсе не заботился об умывании с купанием и даже не трудился снимать одежду, ложась спать.

Знакомый по прежним плаваниям капитан, добродушный моряк родом из Сассница, с зычным голосом, пожурил О'Мэлли за то, что тот, как обычно, едва не опоздал на рейс.

– Теперь фот опостали занять место за моим столом, – проворчал он шутливо, – што шаль. Следовало претупретить меня телекграммой, токта я пы вам сохранил место. Впрочем, может, за столом у токтора осталось местечко.

– Пароход полнешенек в этот раз, – ответил О'Мэлли, пожимая плечами, – но, надеюсь, вы не станете возражать, если я буду время от времени подниматься к вам на мостик выкурить трубочку?

– Конечно, конечно.

– Есть на борту кто-нибудь примечательный? – продолжал разговор ирландец.

Весельчак-капитан рассмеялся.

– Примерно как фсекта, знаете ли. Никофо такофо, из-за кофо стоило бы стопорить сутно! Спросите фот токтора лучше, ему становится заметно скорее, чем мне. Феть тонкая публика фсекта начинает страдать морской болезнью и пропатает ф каютах. Кута на этот раз – в Трапезунд?

– Нет, в Батум.

– А-а! Нефть?

– Меня интересует Кавказ в целом – полазаю по горам.

– Ну што ш, там куча оружия, глядишь, и пристрелят! – Расхохотавшись, он величаво проследовал на мостик.

Так получилось, что О'Мэлли начал столоваться по правую руку от доктора Шталя; напротив него, по левую руку от доктора, сидел весьма разговорчивый торговец мехами из Москвы, который, придя к собственным заключениям о вещах в целом, считал, что и весь остальной мир обязан их разделять, и многословно изрекал всем известное с величественным

видом, что иногда было забавным, но по большей части утомляло. Справа от него сидел каштановобородый армянский священник с кроткими глазами, из того самого монастыря в Венеции, что давал приют Байрону; этот человек ел всё, кроме супа, с ножа, но поразительно аккуратно, а руки у него были до того изящные, что он вполне мог при еде обойтись и без ножа, и это никого бы не оскорбило. Вслед за священником сидел кругленький канадец. Он обычно молчал и следил за чередованием блюд, чтобы чего-нибудь случайно не пропустить. Еще дальше, через пару ничем не примечательных личностей, сидели белокурый крупный бородатый незнакомец с сыном. По диагонали от О'Мэлли с доктором, они были совсем на виду.

Ирландец говорил со всеми, кому его было слышно, непринужденно беседуя с теми, кого ему вряд ли довелось бы еще встретить. Но более всего его порадовало соседство за столом с доктором Шталем, который притягивал его, но нередко спорил, и уже в нескольких плаваньях они, к обоюдному удовольствию, скрещивали шпаги в словесных дуэлях. В характере доктора имелось фундаментальное противоречие, вызванное, как догадывался О'Мэлли, тем, что практика не всегда желала соотноситься с представлениями доктора, и наоборот. Заявляя, что ни во что не верит, он порой отпускал замечания, выдававшие веру в самые разные вещи, причем неортодоксального свойства. И тут же, подведя ирландца к признанию его собственной веры в фей и чудеса, он мог циничным оборотом обрубить разговор. В саркастической манере доктора О'Мэлли усматривал позу, принятую в защитных целях. «Ни один разумный человек в подобном не сознается – это невероятно глупо», – говорил он, однако сам задиристый тон, которым произносились эти слова, выдавал доктора: разум отрицал, но душа верила...

До чего живые впечатления о людях у этого ирландца, интересно только, насколько они правдивы? Но в данном случае, возможно, он был недалек от истины. То, что человеку, обладавшему знаниями и способностями доктора Шталя, требовалось прятаться за личиной обычного *Schiffsarzt*<sup>18</sup>, требовало объяснений. Сам же он объяснял такое поведение потребностью в досуге для размышлений и записей. Лысый, неряшливый, преждевременно состарившийся, с пожелтевшей от табака бородой, небольшого роста, обладая творческим научным подходом, помогавшим ему делать умозаключения вне пределов, описываемых готовыми формулами, он вызывал к себе необъяснимое уважение. Его наблюдательные темные глаза порой насмешливо блестели, порой смотрели с горечью, но гораздо чаще в них светилось добродушное любопытство, которое могло быть вызвано лишь сочувствием к человеческим слабостям. У него, вне всяких сомнений, было доброе сердце, что могли засвидетельствовать многие несчастные пациенты, искавшие у него помощи.

Беседа за столом текла вначале неторопливо. Она завязалась на дальнем конце стола, где болтали, черпая свой суп, французские туристы, затем она распространилась дальше, перескакивая через некоторых молчаливых едоков, не желавших в нее включаться. К примеру, продавец уборочной сельскохозяйственной техники не попал в сферу беседы, промолчали и крупный белокурый незнакомец с сыном. Со стола позади доносился ровный шум голосов – капитан щедро обещал дамам, сидевшим по обе стороны от него, приятное путешествие. Под покровом его густого баса даже самые робкие находили в себе силы обмениваться репликами с соседями. Прислушиваясь к доносившимся обрывкам разговоров, О'Мэлли заметил, что его взгляд нет-нет да и останавливался на сидевших наискосок от него двух незнакомцах. Раз или два он перехватывал и взгляд доктора, направленный туда же, и каждый раз вопрос или замечание уже готовы были сорваться у него с языка. Но слова так и остались невысказанными. Он чувствовал, что и доктор Шталь испытывал сходное замешательство. Оба хотели заговорить – и всё же молчали, ожидая, что другой положит конец молчанию.

– Этот мистраль довольно утомителен, – высказал наблюдение доктор, когда предыдущая тема иссякла и требовалось переключить разговор. – Некоторым он действует на нервы.

<sup>18</sup> Судового врача (*нем.*).

И взглянул на О'Мэлли, но с ответом выскочил торговец мехами, растопырив руку, унизанную перстнями, ладонью вниз над тарелкой, чтобы почувствовать тепло.

– О, мне он прекрасно известен, – непререкаемым тоном напыщенно заявил он. – Обычно дует три, шесть или девять дней кряду. Но стоит нам пересечь Лионский залив – и больше его не встретим.

– Вы так полагаете? Мм... я рад, – откликнулся священник, кротко улыбнулся и ловко поддел мясо вместе с похожими на дробь зелеными горошинами лезвием своего ножа. Его тон, улыбка и жесты были столь деликатны, что применение стали в любой форме казалось совершенно неуместным.

Тут снова разнесся самоуверенный голос торговца:

– Конечно. Я так часто ходил этим маршрутом, что знаю определенно. Из Санкт-Петербурга в Париж, пару недель на Ривьере и назад через Константинополь и Крым. Пустяки. Вот я помню, в прошлом году...

Он поплотнее воткнул перламутровую булавку в свой шелковый галстук с искрой и начал рассказывать историю в основном о том, в какой роскоши он путешествовал. Глазами он пытался втянуть весь их край стола в число своих слушателей, но если армянин еще вежливо слушал, улыбаясь и кивая, то доктор Шталь снова повернулся к ирландцу. Это был как раз год кометы Галлея, поэтому доктор принялся очень интересно рассказывать о ней.

– ...в три часа ночи – любой ночи, да! – будет как раз самое подходящее время для наблюдения, – заключил он свой рассказ, – и я за вами пришлю. Вы должны сами это увидеть через мой телескоп. Скажем, в конце недели, когда мы выйдем из Катании<sup>19</sup> и повернем на восток...

В этот момент, вслед за взрывом смеха за столом капитана, последовала одна из тех неожиданных пауз, которые повергают в молчание всю залу. Все голоса притихли. Даже купец смолк, поставив на стол свой бокал с шампанским. Доносились лишь шум винтов, плеск волн за иллюминаторами и шарканье стюардов.

Поэтому завершение фразы доктора прозвучало неожиданно громко, и его услышали все: – ...пересекая Ионическое море к островам Греческого архипелага.

Слова звонко разнеслись вокруг, и в то же мгновение О'Мэлли поймал взгляд незнакомца-великана – тот поднял глаза и устремил их на лицо говорящего, будто эти слова призывали его.

Затем его взгляд переметнулся на О'Мэлли, но в следующую секунду загадочный незнакомец уже смотрел себе в тарелку. Комнату опять наполнил гомон, купец возобновил свое самовосхваление, шитое золотыми нитками, а доктор продолжил обсуждать состав газов в хвосте кометы. Но пылкий ирландец внезапно ощутил, будто он перенесся странным образом в иной мир. Из бездны подсознания поднялся некий гигантский пророческий знак. Обычная фраза и перехваченный взгляд открыли великие врата чуда в его сердце. В ту же секунду он сделался «рассеянным», или, вернее, от нажатия нужной кнопки весь механизм его личности бесшумно и моментально сдвинулся, открыв совершенно иную грань мира. Его обычное, мелкое самосознание на миг погрузилось в величественный покой гораздо более обширного состояния, ведомого также и незнакомцу. Вселенная кроется в сердце всякого человека, и он с головой погрузился в тот архетипический мир, который залегает так неглубоко под видимой нами поверхностью. О'Мэлли не мог ни объяснить как, даже подступиться к объяснению, но дрейфовал во всеохватном чувстве красоты, где не было ни парохода, ни пассажиров с их разговорами, где остались реальными и зримыми лишь незнакомец с его сыном. Он видел это и никогда не забудет. Случай предоставил условия, и некие гигантские силы воспользовались

---

<sup>19</sup> Катания – город на острове Сицилия.

им. Нечто глубоко потаенное пылало в глазах незнакомца и манило. Пламя переметнулось от гиганта к нему и исчезло.

«Острова Греческого архипелага» – ничем не приметные эти слова одушевились, как показалось О’Мэлли, благодаря вызванному ими взгляду незнакомца и преобразились в жизненно важные ключи к загадке. Они коснулись краешка тайны, величественной и нездешней, некой трансцендентной психической драмы в жизни этого человека, чья «огромность» и чье «одиночество», о котором можно было лишь шептать, также были своеобразными ключами. Более того, он вспомнил, как, только заприметив их на верхней палубе несколько часов назад, сразу понял, что и его собственный дух силой своих особых и примитивных стремлений был связан с той же тайной и выступал частью той же скрытой страсти.

Этот небольшой инцидент великолепно иллюстрирует особое свойство О’Мэлли обнимать всё внутренним взором. Проблеском молнии его чутье соединило слова и взгляд и определило, как одно послужило причиной второго. Возникшая пауза сделала это возможным. Если это и плод воображения, то воображения творческого, а если так действительно было, то это свидетельство духовного прозрения редкой глубины.

Тут он осознал, что сосед внимательно за ним наблюдает, посверкивая глазами. По всей видимости, он уже несколько секунд неподвижно глядел через стол. Тогда Теренс быстро повернулся к доктору и открыто посмотрел на него. На этот раз было уже невозможно избежать разговора.

– Не в силах оторваться от небесного света, затмевающего утро?<sup>20</sup> – хитро спросил доктор Шталь. – Вы куда-то унеслись мыслями. И не слышали ничего из моих последних объяснений.

Пользуясь тем, что купец по-прежнему что-то громко вещал, О’Мэлли отвечал пониженным тоном:

– Я следил за теми двоими напротив, которые сидят ближе к противоположному концу стола. Вижу, они и вас заинтересовали. – Он не хотел, чтобы его слова прозвучали вызовом, и если тон был напорист, то только потому, что он предвидел – в этом вопросе они не сойдутся – и чуял предстоящую дискуссию. И ответ врача, выражающий согласие, его сильно удивил.

– Да, они очень меня заинтересовали. – В голосе Шталя не было ни тени несогласия. – Не думаю, что это для вас новость.

– А меня они просто зачаровали, – откликнулся О’Мэлли, которого всегда нетрудно было втянуть в беседу. – Что они такое? А что вы видите в них необычного? Вам они тоже представляются великанами?

Доктор ответил не сразу, и О’Мэлли добавил:

– Отец, конечно, крупный мужчина, но не это...

– Отчасти, – последовал ответ, – думаю, отчасти да.

– А что еще тогда? – Торговец мехами всё еще говорил, не закрывая рта, поэтому их никто не слышал. – Что в ваших глазах так отличает их от остальных здесь?

– И от всех прочих, – спокойно продолжил врач. – Но если человек с таким богатым воображением, как у вас, ничего не замечает, что может усмотреть мой бедный, любящий точность разум? – Он на секунду задержал на ирландце свой взгляд. – Вы действительно хотите сказать, что ничего более не заметили?

– Некоторое отличие, несомненно, есть, и держатся они от всех в стороне. Кажутся какими-то отринутыми, я бы назвал это величественной изоляцией...

И тут О’Мэлли вдруг остановился. Как ни поразительно, но он случайно натолкнулся на верный ответ и одновременно понял, что не хотел бы обсуждать его с приятелем, ибо это означало бы обсуждать его самого или самую сокровенную его часть. Настрой его совершенно

---

<sup>20</sup> Доктор использует шекспировские строки из альбы в первой сцене IV акта «Меры за меру»: Прочь уста – весенний цвет, Что так сладостно мне глгали. Прочь глаза – небесный свет, Что мне утро затмевали. Перевод Т. Л. Щепкиной-Куперник

переменился. Тут он ничего не мог поделать. Вдруг показалось, что он раскрывает доктору некие самые потаенные свои мысли, причем такие, которые тот не пощадит, поскольку не сможет отнестись к ним сочувственно. Выходит, доктор стремился их выведать у него, прощупывал, используя для отвода глаз самые невинные выражения.

– А кто они, как вы считаете, – финны, русские, норвежцы? – спросил доктор.

Ирландец кратко высказал предположение, что они, скорее всего, русские... или, вероятно, с юга России. Но тон его переменился. О'Мэлли не хотел больше говорить о них. И при первой возможности переменял тему.

Странно, каким образом пришло к нему доказательство. Что-то у него в глубине души, дикое, как пустыня, нечто, связанное с его пристрастием к примитивной жизни, чем он делился всего с несколькими самыми близкими людьми, которые высказывали сочувствие, – именно эта сокровенная часть него оказалась так созвучна встреченным незнакомцам, что говорить о них означало предать и себя, и их.

Более того, теперь он сожалел, что они вызвали интерес доктора Шталя, поскольку тот заведомо станет подвергать всё критичному и научному анализу. А такой анализ обнажил бы их суть, обрек на уничтожение. В его душе шевельнулось инстинктивное чувство самосохранения.

И, ведомый таинственным глубинным сходством, он уже принял сторону незнакомцев.

## V

*Мифология заключает в себе историю мира архетипов. Она постигает Прошлое, Настоящее и Будущее.  
Новалис. «Цветочная пыльца»<sup>21</sup>*

Таким образом, между доктором и ирландцем возникла тема, которой оба избегали касаться, отчего невидимый барьер постепенно рос. О'Мэлли его воздвиг, а доктор Шталь уважал. Какое-то время ни тот, ни другой не касались вопроса русского великана и его сына.

В записи не обладавший выраженным литературным мастерством О'Мэлли выпустил бесчисленные мелкие детали, подтверждавшие справедливость его умозаключений. А на словах он сразу дал мне понять, что эта тайна существовала, поэтому свести воедино оба впечатления – нелегкая задача. Тем не менее было в том русском с мальчиком нечто, вызывавшее глубокое любопытство, но также и отталкивавшее других пассажиров, которые держались от них в стороне; кроме того, существовало негласное соревнование меж двух приятелей раскрыть эту тайну, хотя и из противоположных убеждений.

Если бы кто-то из незнакомцев заболел, скажем, морской болезнью, то профессия доктора Шталя поставила бы его в выгодное положение, но поскольку они оставались здоровы, а внимания доктора постоянно требовали другие пассажиры, то именно ирландец выиграл первый ход и познакомился с ними лично. Тут, конечно, помогло подстегивавшее его личное желание, потому что, хотя со стороны незнакомцев не было никакой агрессии – они вели себя тише воды и не подавали ни малейшего повода для обиды, – нетрудно было заметить, что большая часть пассажиров их отторгала. Казалось, они обладали неким свойством, которое не подпускало к себе, а на небольшом судне, где путешественники постепенно налаживают некое подобие уклада жизни большой семьи, такая изоляция была неприятным образом приметна.

Она сказывалась во множестве подробностей, которые были заметны лишь тому, кто вел постоянное пристальное наблюдение. Шаги навстречу, любезности, обычные между путешественниками и, как правило, приводящие к тому, что между людьми завязывался разговор, в их случае не вели ни к чему. Все пассажиры, как один, через несколько мгновений вежливо откланивались и более никаких контактов поддерживать не желали. И хотя поначалу это возмущало его, вскоре О'Мэлли почувствовал, что отец с сыном не только не поощряли контактов, но даже распространяли вокруг себя некую отталкивающую атмосферу. Каждый раз, наблюдая очередную такую сценку, ирландец укреплялся в своем представлении о них как об отвергнутых одиноких существах, за которыми охотится всё человечество и которые ищут убежища от своего одиночества, укрытия, показавшегося там, куда они направлялись наконец.

Лишь человек с очень живым воображением, сосредоточенным на этих людях, мог такое подметить, но для О'Мэлли всё казалось ясным как день. Но с уверенностью начало расти чувство, что убежище, к которому они стремились, окажется спасением и для него, с той лишь разницей, что они были твердо убеждены, а он еще колебался.

И всё же, несмотря на испытываемую тягу к ним, воображаемую или открытую в душе, ему было нелегко подойти и заговорить с великаном. Полтора дня О'Мэлли лишь наблюдал. Столь сильное притяжение побуждало к осторожности, поэтому он выжидал. Но благодаря неослабному вниманию и наблюдательности он, казалось, всегда знал, где они находятся и чем заняты. Инстинктивно он чувствовал, в какой части корабля их можно найти: чаще всего они стояли, опершись на перила на носу, глядя на вспененную винтами парохода воду, либо

---

<sup>21</sup> «Цветочная пыльца» (*Blutenstaub*, 1798) – книга афоризмов Георга Филиппа Фридриха фон Харденберга, известного под псевдонимом Новалис (1772–1801), опубликованная в журнале йенских романтиков «Атенеум».

мерили шагами корму поздним вечером или ранним утром, когда там никого, кроме них, не было, или же устраивались рядышком где-нибудь в уголке на верхней палубе и смотрели на небо и на море. Манера ходьбы также отличала их от прочих: свободная, раскованная, размашистая, тяжеловесная и в то же время необъяснимым образом грациозная и очень быстрая. И эта скорость перемещения как бы уравновешивала впечатление массивности. Их вид говорил, что палубы судна им страшно тесны.

И вот, когда миновали уже Геную и находились на полпути к Неаполю, наконец представилась возможность познакомиться ближе. Вернее, не в силах больше противиться, О'Мэлли нарочно подстроил встречу. Хотя она представлялась столь же неизбежной, как восход солнца поутру.

Мистраль перестал дуть, но вслед за ним пришли дожди, море было беспокойно. Корабль окутал запах с берега – так пахнет мокрая дубовая листва, когда ветер раскачивает кроны деревьев после сильного ливня. В час перед ужином палубы были сырые и скользкие, поэтому там сидела под навесом только пара закутанных в плед пассажиров в шезлонгах. Следуя внутреннему импульсу, О'Мэлли вышел из душевой курительной комнаты на воздух. Уже стемнело, после яркого света пелена моросящего дождя застлала взор. Но лишь на миг, потому что первое, что он увидел, – это русского с сыном, которые двигались в направлении кормовых компасов. Огромной и сумрачной монолитной фигурой они уносились во тьму со скоростью, которая, как обычно, была несопоставима с их походкой. Тяжелой поступью они уходили всё дальше. Уловив последний поворот широких плеч мужчины, О'Мэлли покинул навес и двинулся вслед. И хотя они не подали виду, он почувствовал, что они знали о его приближении и даже приветствовали его.

Когда он подошел совсем близко, поворот судна бросил их друг другу в объятия, и мальчик, полускрытый плащом отца, выглянул из-под полы и улыбнулся. Свет из окна кают-компании слабо освещал его лицо. Ирландец увидел эту приветливую улыбку, после чего палуба качнулась снова и он полетел вперед. Поручни фальшборта не дали им упасть, а отец протянул руки, чтобы поддержать его. Все трое расхохотались. При ближайшем рассмотрении, как всегда, ощущение огромности исчезло.

А затем они, совершенно не так, как бывает обычно, не сказали друг другу ничего. Мальчик подошел к нему и встал слева, ирландец оказался посередине – так они и стояли, опираясь на поручни, и наблюдали, как фосфоресцировало Средиземное море с пенными гребнями.

Над морем сгустились сумерки, берег Италии был довольно далеко, вне пределов видимости: туман, поздний час, пустыньность палуб и что-то еще, безмянное, замыкали этих троих в отдельный мирок. В голове О'Мэлли возникли было одно или два предложения, но он их так и не высказал вслух, да это было и не нужно. Его приняли без лишней суеты. Между ними существовала глубокая естественная приязнь, интуитивно уловленная еще в ту первую встречу, в Марселе. Инстинктивная, почти как между животными. А теперь жест мальчика, перешедшего к нему под бок, чему отец не воспротивился, выступил знаком полного доверия и приветия.

А потом наступил один из тех великолепных, полных значения моментов, которые время от времени возникают в жизни, врываются, затопляют все барьеры и вспыхивают, растворяя в пылающем свете тысячи порождений тени, обступающих нас со всех сторон. Нечто, заточенное в нем, вырвалось наружу и поднялось, как волна, неся с собой расширение жизни, ее «понимание». Оно, конечно, исчезло в следующее мгновение, но он успел уловить его последний отблеск, осветивший загадки его сердца и оставивший по себе толику ясности. Само понимание исчезло, не успев облечься в мысли и слова, но этот отблеск остался. Свет проник в подземные ходы его существа, сделав на долю секунды видимым некий ключ к его скрытым стремлениям к примитивному. И он отчасти осознал их.

И вот, когда он стоял меж этими двоими, постижение оказалось полнее, чем когда-либо раньше.

Свойства отца – спокойствие, мирный настрой, неспешность, молчаливость – говорили о том, что его внутренняя жизнь протекает в иной области, необъятной и простой, накладывающей даже на его внешние проявления отпечаток огромных размеров, той области, где расстройств вульгарной, тщетной суеты современного мира просто не могли существовать – ни сейчас, ни когда-либо вообще. Никогда прежде не осознававший в точности, отчего современная жизнь представлялась ему столь ужасной, ирландец теперь, в присутствии этого простого существа, распространявшего вокруг ощущение величественной силы, понял это отчетливо. Человек этот был как дитя, но дитя доисторической эпохи, теперь совершенно позабытой, он не нес определенных черт возраста, а лишь состояния, предшествовавшего всем другим, – простоты в том благородном концентрированном смысле чудесного, что внушала благоговение. Стоять рядом с ним означало находиться возле ровного, мощного и беззвучно горящего пламени, питающего все более мелкие светильники, оттого что он находился вблизи центрального источника огня. О’Мэлли он грел, освещал, оживлял – делал цельным. Присутствие незнакомца поглотило его как бы единым глотком и перенесло в Природу – Природу, которая была живой. И человек являлся ее частью. Никогда прежде не был он столь близок к ней. Города и цивилизация унеслись прочь, как сон, устыдившись. Солнце, луна и звезды придвинулись и коснулись его.

Это мгновенное понимание пришло к нему в присутствии великана, стоило вдохнуть атмосферу, окружающую его. Область, которой питался его дух, была в центре, а современные люди действовали, ведомые своим разрозненным поверхностным пониманием, на периферии. Он даже понял, как получалось, что внешне заметный размах их движений и походка выступали приметами этой внутренней сути. Неуклюжесть, неприспособленность, наполовину славная, наполовину жалкая, была физическим выражением отсутствовавшего стремления выучиться ужимкам духа, преподаваемым цивилизацией людям меньшего калибра. Она вызывала даже своего рода благоговение, потому что сейчас они на всех парах возвращались к себе домой, где их ждало убежище.

О’Мэлли почувствовал, что это движение захватывает и его, увлекая за собой...

И то исключительно глубокое удовлетворение, испытанное в компании этих двоих в первый же момент, О’Мэлли описывает как абсолютно новое ощущение для него – осознание своей «полноты». Мальчик коснулся его, и ирландец дал его руке обнять себя. По другую сторону возвышался отец мальчика. На секунду О’Мэлли охватила тревога, но она почти сразу уступила место пронзительному ощущению счастья. И вот уже больше не пассажиры парохода и не нравы современности отторгали их, а они сами отвергали этот мир оттого, что знали лучший. Более того, они были в нем.

Затем, не оборачиваясь, великан заговорил, выговаривая каждое слово по-английски с сильным акцентом, медленно, словно прикладывая огромные усилия, чтобы сложить их в фразы.

– Ты... идешь... с нами? – будто заикаясь, произнес он. Вернее, это больше походило на попытку выразить словами то, что обычно в них не нуждалось.

Звуки голоса – густого баса – сливались с шумом моря внизу.

– Я направляюсь на Кавказ, – отвечал О’Мэлли, – в древние горы, чтобы там увидеть... найти...

Он хотел сказать намного больше, но слова замерли у него на устах.

Великан медленно наклонил голову. Мальчик слушал.

– А вы? – спросил ирландец, не понимая, отчего он весь внутри затрепетал.

Собеседник улыбнулся; невыразимая красота озарила в сумерках его бородатое лицо.

– Некоторые из нас... наши... – он говорил очень медленно, очень отрывисто, будто выламывая глыбы слов, – еще живут... там... А мы... теперь... возвращаемся. Так мало... нас... осталось... И ты... пойдём... с нами...

## VI

*В духовном Царстве Природы человек везде должен искать подходящую ему местность и климат, занятие, свое особое окружение, чтобы культивировать свой Рай в представлении; так должно быть. Рай рассеян по всей Земле, вот почему его стало столь трудно распознать.*

*Новалис*

*Человек начался с инстинкта и закончится им же. Инстинкт – порождение Рая, он предшествует периоду самосознания.*

*Он же*

– Послушай, старина, – сказал он мне, – я расскажу тебе, потому что знаю – ты не поднимешь меня на смех.

Когда мы добрались до этого места его повествования, мы с ним лежали под большими деревьями на берегу Круглого пруда<sup>22</sup>, причем его непосредственный рассказ выходил гораздо красочнее, чем я могу здесь передать. О’Мэлли был в состоянии редкой открытости, возбужденный, с непокрытой головой, краешек обтрепанного галстука выбивался из его еще более обтрепанного жилета. Один носок спустился неряшливо на ботинок, оставив незакрытую полоску голой лодыжки.

От берега пруда доносились детские голоса, будто совсем издалека, силуэты нянюшек и колясок с младенцами, казалось, тронуты какой-то нереальностью, лондонские башни были облаками на горизонте, а городской шум – шумом волн. Я видел перед собой лишь палубу парохода, серое туманное море и две неуклюжие фигуры, вместе с моим приятелем склонившиеся над волнами, опершись на парапет фальшборта.

– Ну же, продолжай! – подбодрил я его.

– Большинству людей это может показаться невероятным, но клянусь тебе всем святым, я просто ног под собой не чуял, никогда не ощущал ничего подобного. Сознание этого гиганта полностью меня обволокло. Благодаря ему весь неодушевленный мир – море, звезды, ветер, леса и горы – представился мне живыми. Вся благословенная Вселенная была сознательной, и он выступил прямо из нее – за мной! Я понял о себе то, чего никогда не мог понять прежде, даже стараясь сделать вид, что этого нет вовсе, в особенности ощущение оторванности от рода людского, неспособности отыскать никого, кто говорил бы на моем языке. Понял, отчего я так отчаянно одинок, отчего так страдаю...

– Да, приятель. Ты всегда был нелюдим, – решил я чуть подбросить дровишек в костер его энтузиазма, который на самом пороге рассказа вдруг, судя по выражению его голубых глаз, едва не угас. – Расскажи. Обещаю, что не пойму тебя превратно, по крайней мере, попытаюсь разобраться.

– Благослови тебя Господь, – ответил он с пробудившейся надеждой, – верю, ты постараешься. Во мне всегда крылось нечто, примитивное, дикое, отталкивавшее от меня людей. Я же иногда пытался притушить его несколько...

– Разве? – рассмеялся я.

– Говорю «пытался», оттого что боялся: вот-вот оно вырвется наружу и разнесет мою жизнь в клочки – одинокое, неукротимое, чуждое городам, деньгам и всей удушающей атмосфере современной цивилизации. И спасался, уходя в дикие и свободные места, где ему открывалось пространство для дыхания, а мне не угрожала опасность угодить в сумасшедший дом. –

---

<sup>22</sup> Круглый пруд – искусственный пруд в Кенсингтонских садах, почти в центре Лондона.

Тут он рассмеялся, но слова эти были совершенно искренни, так он и думал. – И знаешь, разве я тебе не говорил уже не раз? Дело тут вовсе не в упрямом эгоизме, а также не в «вырождении», как о том толкуется в их драгоценных научных трактатах, потому что будь я проклят, если для меня это не самая что ни на есть живая жизнь, там я чувствую себя просто великолепно и готов горы свернуть. Оттого я стал изгоем и... и...

– Значит, это куда сильнее Зова Дикой Природы, верно?

Он снова фыркнул.

– Так же верно, как то, что мы сейчас сидим тут на покрытой сажей лондонской травке, – воскликнул он. – Этот хваленый Зов Дикой Природы, о котором столько болтают, всего лишь желание чуть поразмяться, когда наскучивает городское прозябание и хочется покуролесить, чтобы выпустить пар. То, что чувствую я, – голос О'Мэлли посерьезнел и понизился, – явление совсем иного порядка. Это сущий голод, необходимость насытиться. Им требуется выпустить пар, а мне потребна пища, чтобы не умереть от голода.

Последнее слово он прошептал, приблизив губы к моему уху. В воздухе повисло молчание. Я первым нарушил его.

– Значит, это не твой век! Это ты хочешь сказать? – кротко предположил я.

– Не мой век?! – С этими словами он принялся рвать пучки сухой травы и подбрасывать их в воздух, чем, признаюсь, удивил меня. – Да это даже не мой мир! И я всеми фибрами души ненавижу дух современности со всеми его дешевыми изобретениями, прессом фальшивой всеохватной культуры, убийственными излишествами и жалкой вульгарностью, когда недостает истинного чувства прекрасного понять, что маргаритка куда ближе к небесам, чем воздушный корабль...

– Особенно когда такой корабль падает, – рассмеялся я. – Полегче, приятель, полегче, не стоит преувеличениями портить борьбу за правое дело.

– Конечно, конечно, но ты ведь понимаешь, что я имею в виду, – рассмеялся он вслед за мной, хотя лицо его вновь посерьезнело, – да много чего еще можно было бы сказать... Так вот, эти русские прояснили для меня ту непонятную, бурлившую во мне до сих пор без всякого выхода тягу к дикости. Как – я и сам не могу объяснить, поэтому не спрашивай. Но всё благодаря отцу, его близости, проникнутому сочувствием молчанию, его личности, полной жизненной силы, не усеченной из-за необходимости контакта с заурядными людишками, обходившими его стороной. Его простое присутствие пробудило во мне непреодолимую тягу к земле и Природе. Он казался живой ее частью. Такой великолепный и огромный, но черт меня побери, если я знаю как.

– Он ничего не говорил, что помогло бы это прояснить?

– Ничего, кроме того, что я уже пересказал, неуклюже выразив с помощью нескольких современных слов. Но в нем самом истинность моего стремления находила подтверждение тысячекратно. Благодаря ему я понял, что подавлять его было бы неестественно, более того, было бы проявлением трусости с моей стороны. Ведь, собственно, речевой центр в мозге – относительно недавнее образование в процессе эволюции, и говорят, что...

– Значит, это был не их век тоже, – снова перебил его я.

– Нет, причем он и не пытался притвориться, что имеет к нему какое-то отношение, как это делал я! – воскликнул О'Мэлли и резко сел, поднявшись с земли, где я остался лежать. – Он был неподдельным, ему и в голову не могло прийти поддаваться на компромиссы, понимаешь? Только вот теперь он каким-то образом разузнал, где крылись его мир и его век, собираясь вскоре вступить в права владения. Именно это меня и захватило. И в себе я инстинктивно ощущал такое чувство с необыкновенной силой, вот только говорить об этом определеннее мы были не в состоянии, оттого что... я с трудом могу передать словами... Потому же, – вдруг заключил он, – почему не могу и тебе сейчас объяснить! Таких слов не существует... Мы оба искали того состояния, которое исчезло еще до возникновения слов и потому не поддавалось

внятному описанию. И на пароходе с ними никто не разговаривал по той же причине, теперь был я уверен, по которой не могли найти общего языка во всем мире, – потому что никому не под силу освоить даже алфавит их языка. И всё выходило так странно и прекрасно, – продолжал он, – что, стоя подле него, окутанный его атмосферой, я ощущал, как воздушные и морские потоки проходят через нее, через фильтр его духа, и насыщают меня – в столь близком контакте с Природой он находился. Я погрузился в свою среду, что сделало меня счастливым, по-настоящему живым; наконец я знал, чего хочу, хотя и не мог этого выразить словами. Весь этот современный мир, к которому я так долго пытался приспособиться, теперь превратился в смутное воспоминание, в сон...

– В твоём воображении конечно же, – счел нужным вставить я, видя, что поэтическое вдохновение заносит его в такие края, куда я не смогу последовать за ним.

– Конечно, – неожиданно кротко отозвался он, вновь сделавшись задумчивым, его возбуждение почти улеглось, – и именно поэтому давая истинное представление. Несовершенные органы чувств не вставали на пути к постижению. Это было непосредственное видение. Ведь что есть, в конце концов, реальность, как не то, во что убеждает нас поверить человеческое видение? Другого критерия не существует. И критика со стороны сознания другого типа есть лишь признание его собственных ограничений.

Поскольку мое сознание относилось именно к «другому типу», я, естественно, не стал спорить, но решил временно принять его полуправду. Да и останавливал его я время от времени лишь для того, чтобы не потерять нить его чудесного повествования.

– Итак, та дикая часть моего «я», отринутая современным миром, – продолжил он с кельтским воодушевлением, – пробудилась вполне. Взывая ко мне, подобно летучему духу в бурю, она хотела завладеть мною безраздельно. Но личность стоявшего рядом мужчины как бы сама собой вернула меня к земле, к Природе. Я понимал, что говорят его глаза. Слова «острова Греческого архипелага» служили намеком, пока не прояснились далее, я только знал, что мы с ним происходили из одного края, что мне хотелось последовать за ним, а он принимал мою готовность с восторгом, с чистой радостью. Она влекла меня, словно бездна склонного к головокружению. Мысли этого человека, – решил пояснить он, повернувшись ко мне, – достигали меня гораздо полнее, когда я просто стоял рядом с ним, погруженный в его атмосферу приятия, чем когда он пытался облечь их в слова. О, это помогает, похоже, лучше объяснить то, к чему я иду. Видишь ли, он скорее чувствовал, чем думал.

– То есть как животные? Инстинктивно?

– В определенном смысле, – чуть помедлив, ответил он. – Как очень ранняя, первобытная форма жизни.

– Как ни стараюсь, Теренс, вряд ли я вполне понимаю тебя...

– Я сам себя не вполне понимаю, – воскликнул он, – поскольку пытаюсь и вести, и идти вслед одновременно. Тебе ведь известно представление, на которое я где-то наткнулся, что у первобытных людей чувства были существенно менее специализированны по сравнению с современным человеком, что ощущения поступали к ним скорее сгустком, а не разделенными аккуратно на пять каналов, то есть они чувствовали всем телом, и что все их ощущения, как при передозировке гашиша, сливались воедино? Сведение всех ощущений централизованно в головном мозге возникло относительно недавно, прежде оно могло происходить в других нервных узлах тела, к примеру в солнечном сплетении, либо вообще не иметь определенной локализации! Известно, что пациенты при истерии могли видеть кончиками пальцев и ощущать запахи пятками. Осознание по-прежнему рассредоточено по всему телу, только остальные четыре вида чувств обрели постоянное расположение в определенных органах. И по сей час существуют системы представлений, согласно которым основным средоточием считается солнечное сплетение, а не головной мозг. Да и само слово «мозг» ни в одном из древних Священных Писаний мира не упоминается. В Библии ты его не найдешь: жилы, сердце и прочее –

вот чем тогда люди чувствовали. Всем телом, вот... – оборвал он себя и подытожил: – Именно таким, думаю, и был тот приятель. Теперь понимаешь?

Я смотрел на него во все глаза, изумляясь. Мимо прошла няня, поддерживая малыша в коляске на пружинах и приговаривая по-дурацки: «Прыг-скок, прыг-скок!» О'Мэлли на волне своего настроения едва дождался, пока она пройдет. Затем оперся на локоть, придвинулся ко мне ближе и продолжил чуть тише. Думаю, мне не доводилось прежде видеть его столь расстроенным, так мало понимая причину охвативших его чувств. И всё же было совершенно невероятно, как мог он уловить столь много из нескольких обмолвок полубессловесного иностранца, если не допустить, что всё сказанное им было правдой и что этому русскому действительно удалось некой магией сочувствия пробудить таившийся в душе моего друга огонь.

– Знаешь, – говорил он едва слышно, – каждый, кому дано самостоятельно мыслить и живо чувствовать, рано или поздно обнаруживает, что живет в своем особом мире, и верит, что однажды обретет в книге или в человеке Пастыря, открывающего его смысл. Так вот, я своего обрел. Взвесить на точных весах свою убежденность или точно, как мясник отрубает заказанную часть, отделить ее я не в состоянии, но это так.

– И ты хочешь сказать, что всё это понял от простого его присутствия, почти без слов?

– Ибо речь была бы бессильна, – отвечал он, еще сильнее понизив голос и наклонившись ко мне еще ниже, почти касаясь лица. – Мы с ним оказались последними выжившими из мира, чей язык был либо вовсе не создан, либо *позабыт*...

Последнее слово он выделил особо.

– Значит, между вами произошла сложная и детальная передача мыслей?

– Почему бы и нет? – пробормотал он в ответ. – Вполне обычное дело.

– А прежде, до того как ты повстречал незнакомца, тебе не доводилось искать объяснений своему одиночеству и способов его избежать, удовлетворить свою потребность?

Последовал ответ, высказанный со всей искренностью:

– Всегда, старина, всегда, но это приносило мне страшные страдания, поскольку я не понимал причины. А разобраться страшился. И вот этот человек, явивший гораздо менее разбавленный и выдающийся пример того же расположения духа, всё прояснил, сделав естественным и понятным. Мы с ним вместе происходили из одного и того же позабытого времени и пространства. И, следуя за ним, я мог вновь обрести дом, вернуться...

Я тихо присвистнул, глядя в небо. Потом сел и пристально поглядел О'Мэлли в глаза. Судя по его виду, он был не склонен шутить. Поднимать его на смех не хотелось, да и вышло бы несправедливо. Кроме того, мне нравилось слушать его. То, как он выстраивал самые баснословные конструкции из едва заметных происшествий, ища объяснения сложности своей натуры, несказанно увлекало. Словно непосредственно наблюдаешь работу творческого воображения, и этот процесс представлялся каким-то священнодействием. Некоторую неловкость я порой испытывал лишь от его убеждения, что каждое сказанное слово истинно.

– Я скажу проще, чтобы ты понял! – вдруг воскликнул он.

– Хорошо, значит, «проще говоря»...

– Он познал ужасное духовное одиночество жизни в мире, все интересы и вкусы которого шли вразрез с его собственными, в мире, в котором он был чужим и который постоянно отвергал и отталкивал его. Любые шаги навстречу с обеих сторон были обречены на неудачу, ведь вода и масло не смешиваются. Не принятый не просто одной семьей, племенем или народом, но живущим на земле видом людей в целом и самим временем – всем современным миром, – изгой и чужак, несчастный одинокий пережиток далекого прошлого.

– Такому нельзя не ужаснуться!

– Я понимал его, – продолжал он, воздев руки к небу от избытка чувств, – ведь сам пережил нечто подобное в миниатюре: он являл собой крайнее выражение крившегося в глубине моей души. В нем продолжало жить то, что современный мир давно отверг и отправил

в ссылку. Человечество рассматривало его из-за барьера, не намереваясь приглашать к себе. Однако и поступи такое приглашение – он не смог бы его принять по внутренней своей сути. Будучи сам перекасти-подем, я понимал его ужасное одиночество, бездомность души, лишенной видимой и осязаемой родины. Во мне пробудились нежность и симпатия к нему, позволившие примириться с собой. Для меня он предстал вождем всех неприкаянных душ в этом мире.

Задохнувшись от избытка чувств, он откинулся на спину и лежал, наблюдая за облаками – этими мыслями ветра, успевающими перемениться, прежде чем удастся уловить их значение вполне. Столь же переменчива была и мысль, которую он пытался одеть в слова. Ужас, возвышенность и печаль этой великой мысли глубоко меня задели, хотя, несомненно, далеко не в той степени, как его, полностью убежденного в своей правоте.

– Есть такие души, лишенные пристанища, души-изгой, – неожиданно заговорил он вновь, перевернувшись на живот. – Они существуют. Они бродят по современной земле там и сям в телах обычных людей... и об их одиночестве даже нельзя говорить вслух.

– А у тебя сложилось какое-то понимание, пережитком чего он был? – решился я спросить, поскольку во мне начала крепнуть уверенность, что те двое, о которых он вел рассказ, должны были оказаться в итоге какими-нибудь беглыми революционерами или политическими беженцами, попавшими на пароход по вполне объяснимой причине.

О'Мэлли закрыл лицо руками и какое-то время не отвечал. Затем он поднял глаза на меня. Помню, щеку его перечеркнула полоса лондонской сажи. Откинув волосы со лба, он ответил ровным голосом:

– Разве ты не видишь, насколько глуп твой вопрос, на который невозможно ответить, не прибегая к заведомой выдумке? Могу лишь сказать, – тут ветерок донес до нас возгласы детей, самозабвенно пускавших свои кораблики на Круглом пруду, – что во мне укрепилось желание следовать за ним, чтобы узнать ведомое ему, поселиться там, где жил он... навсегда.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.